

0-38

44

3 • 1982

июль — сентябрь

ШТНИ
КУЗБАССА

526116





Вот уже более пятнадцати лет продолжается братская дружба трудящихся земли Кузнецкой и Ноградской области Венгерской Народной Республики. И год от года интернациональные связи областей-побратимов крепнут и расширяются. Встречаются и обмениваются опытом партийные, советские и профсоюзные работники, шахтеры, строители, металлурги, спортсмены. Сотни сибиряков и венгров знакомятся друг с другом в туристических поездках, ведут личную переписку.

Кемерово и Шальготарьян регулярно обмениваются концертными бригадами, фотовыставками и кинофильмами, выпускают совместные книги.

На снимках 2-й и 4-й стр. обложки—сегодняшний Шальготарьян.

ОГНИ КУЗБАССА

0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально
Год издания 34-й

№ 3(76)

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

- Владимир Коньков. В родительском доме. Рассказ . . . 3
Валерий Зубарев. Стариковский эдем. Рассказ . . . 16
Людмила Филаткина. Полоса неудач. Рассказ . . . 23
Вадим Макшеев. А помните... Рассказ . . . 33

СТИХИ

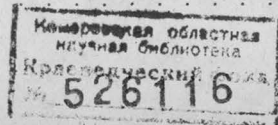
- Валентин Махалов. Зазимье. «Живет на свете женщина...»
«Как в доме холодно у нас...» Слаломист. На катере
«Золотоволосая девочка Рая...» Соберу рюкзак поход-
ный... Четверостишия . . . 13
Михаил Небогатов. Из военной тетради . . . 21
Геннадий Юров. Осень в Журавлях . . . 31
Павел Майский. «Здесь, в городе...» «Мечтаю все поехать
на Урал...» «Опускается за гору солнышко...» «Стала
речка серьезнее в осень...» «Дверь открою в сени...»
Колина могила . . . 38

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

- Павел Броницкий. Древнее разума. Беспредельное счастье
Рассказы . . . 40



390483



АНТОЛОГИЯ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Валерий Баранов. К вопросу о некоторых частных случаях	47
Николай Скоров. В синих сумерках	49
Александр Легчило. Первая гроза	50
Алексей Бабанин. Чистые родники	51

НАШ СОВРЕМЕННИК

Николай Сазанов. Искатели. (Человеческие грани металла)	52
---	----

ВРЕМЯ — ЛЮДИ — СУДЬБЫ

Константин Андреев. Форштадт. Быль	61
--	----

К 70-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ВОЛОШИНА

Анатолий Шишкин. Все начинается с рассвета	69
--	----

ЮБИЛЕИ НАШИХ ГОРОДОВ

Михаил Сорокин. Великий князь в Салаир не поедет...	72
---	----

О ПОВЕСТИ МОЕГО ТОВАРИЩА

Геннадий Полицин. Заповедник детства (Заметки о по- вести Геннадия Естамонова «Здесь я живу»)	76
--	----

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Тамара Страхова. «Мишку мы назад приведем...» . . .	79
---	----

Редактор Владимир Мазаев

Редакционная коллегия: Виктор Баянов, Сергей Донбай,
Геннадий Емельянов, Валерий Зубарев (отв. секретарь), Вла-
димир Куропатов, Владимир Матвеев, Валентин Махалов,
Зинаида Чигарева, Геннадий Юров

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 40,
тел. 6-26-95, 6-85-14.

Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор *Т. И. Махалова*; художественный редактор
В. П. Кравчук; технический редактор *Г. Н. Манохина*; коррек-
тор *В. А. Лузина*.

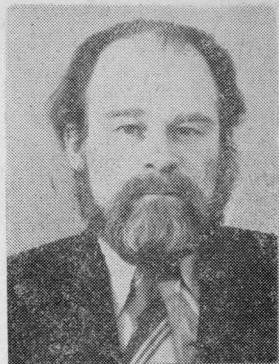
Сдано в набор 25.05.82. Подписано к печати 27.07.82. ОП 07493. Формат
70×90^{1/16}. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,85.
Усл. кр.-отг. 6,73. Уч.-изд. л. 7,81. Тираж 7000 экз. Заказ № 9900. Це-
на 45 к. Кемеровское книжное издательство. Полиграфкомбинат. Адрес
издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

О $\frac{70500-38}{M145(03)-82}$ 30-82-4702000000

© Кемеровское книжное издательство, 1982

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

РАССКАЗ



С кладбища, на косогоре под высокими кустиками березами, мать уехала с зятем в совхозном «газике». В «Жигули» к Ивану Скуратову с Натальей сели двоюродный брат Илья с женой. Наталья, едва покатались с кладбищенского бугра, напомнила мужу:

— Ваня, как договаривались, разговор о местожительстве матери начини первый. — Иван, не отворачивая взгляда от дорожной колеи, досадливо дернул кудрявой, пегой от седины головой. Наталья, не придав этому жесту значения, обернулась к сидящим на заднем сиденье: — Разве я не права? Чего ей одной в деревне оставаться? У нас две комнаты на пятом. Как только получим новую квартиру, маму заберем. А пока пусть Алексей или Ирина позаботятся. И решать всем надо без ложной стыдливости и серьезно!

— Кто же, кроме детей, и подумает о матери, — невпопад поддакнул Илья и, сообщив, что сказал не то, добавил: — Опять же, и старики нынче с норовом. — Он, может, и развил бы свою мысль дальше, но жена, сидящая рядом, толкнула его локтем в бок. Илья умолк. Чтобы сгладить неловкость, спросил у Ивана спички.

— Случается, в другой день коробков пять чужих наберешь, а нередко и твой уведут! Слышь, Иван, а дядя Лукьян, царство ему небесное, хваткий мужик был. Тятка хвастал,

помню, на вечеринках все девки ихние были! — Илья, видимо, считал своим долгом подерживать разговор.

— Ну и бессовестный ты, Илья, спасу нет. — Жена опять ткнула локтем, а он, не понимая вины, стал объяснять:

— Я причем? Жизнь! Так сказать, действительность без прикрас!

«Жигули» прыгали по редко езженной колее. Ветки росших вдоль обочины деревьев хлестали по лобовому стеклу. Наталья ойкала.

— Иван, — прервал молчание Илья, — все попросить хочу, да видимся редко: на именинах да на похоронах. А в город — недосуг. Ты бы устроил мне железа на гараж? Садовников, говорят, с шахты привез. Цена пустячная, не считая «горючего», а стоять будет вечно! На вашей шахте, думаю, можно разжиться!

— Рештаки, что ли? — машинально уточнил Иван. Он думал о том, что, в сущности, Наталья права и разговора о дальнейшем материном житье им сегодня не избежать. Завтра утром все разъезжаются по домам.

— Не знаю, как называются, — оживился Илья, — вроде неглубоких корытец.

Однако жена его опять урезонила.

— Ну, чего привязался. Нашел время, ей-богу!

— А чо, — простодушно удивился Илья, —

живым про живое. Верно, Иван? Жизнь не остановишь. Она и без нас будет... Но лучше и погодить туда!

Балагурство Ильи не задело Ивана. В самом деле, с чего было тому о старике печалиться? Своих забот не сосчитать, пожалуй. Больно ли переживал Иван, когда дядя Николай, отец Ильи, умер?

В это время в очередной раз по машинному стеклу хлестнула ветка. Наталья, охнув, откинула голову — будто могло ее задеть. Иван скосил глаза в сторону жены, поправлявшей парик. Дома у них уже подобный разговор состоялся. Смерть отца не явилась неожиданностью для Скуратовых. Он долго болел. Едва Иван прочел телеграмму, как Наталья заговорила, о чем уже не раз было говорено:

— С матерью сразу решайте. В пустом доме, с хозяйством ей тяжело будет. Тебе же, по горячим следам, самое время поднять опять квартирный вопрос. В нашу тесноту бабушку не возьмешь, а Жанночке с ней будет хорошо. Так что пусть ее зять или твой брат берут. Там при хозяйствах, при огородах первое время старухе привычней будет, психологически даже легче...

Естественная логика и деловитость рассуждений Натальи раздражали Ивана. Он не мог об этом не думать, но и рассуждать тоже не мог. Ему предстояло вжиться в это странное, невозвратное отсутствие отца. И боль еще не отпустила, и тоска не успела занять свое постоянное место в душе, и путаной тревогой кидались смятенные мысли о громко плачущей сестре, о рештках для Илюхиного гаража, о жене, не забывшей накраситься, о притихшей дочери; и, совсем непонятно почему, о том, что за эти дни, в его отсутствие, вряд ли отремонтируют насос на шестнадцатом скате и опять будут неприятности с главным механиком...

Придорожные кусты начали редеть, разбегаться, обнажая синеву, пока вдруг не исчезли совсем. В серой дорожной сухости деревенской улицы «Жигули» продвигались нырками. Ворота скуратовского двора, распахнутые настежь, все эти дни не затворялись. По двору и по дому с хлопотливой по-хозяйски занятостью сновали чужие люди. До странно-

сти непривычно скрипели доски ступенек высокого крыльца. На кухне звенели кастрюли, миски, ложки. Сквозь этот звон непросто было шагнуть через приступок в горницу, Ивану представлялось, что там вновь замлеет он перед небывалой еще в скуратовском доме встречей, когда, почти вбежав, оробело, уголками глаз видя расплывающуюся блеклую желтизну скулоострых щек неудобно, навзтяжку лежащего отца, полным взглядом он потянулся к матери в неосмысленном детском стремлении спрятаться под ее защитой. Однако из-под черной каймы платка, из пепельности морщин лица взглянули полные отрешенной неответности и незнакомости глаза.

Иван не пошел в дом, остался во дворе, гудевшем приглушенным говором пришедших на поминки родственников, односельчан и приехавших бартеньевских.

В доме, на кухне, под присмотром тетки Таисьи, старшей материной сестры, готовили поминальный обед. Таисья указывала, как расставлять посуду, чем укрыть доски, положенные меж табуретками для сиденья. Мать, по возвращении, сразу утаилась в спальне. Наталья заглянула к ней: не надо ли чего.

— Соли на стол, доченька, не ставьте! — напомнила мать старый обычай.

Она сидела на кровати сухонькая, небольшая, напряженно прямо, в черном платке.

— Вы отдыхайте, мама. — Наталья поправила черную гипюровую косынку на своем парике. — Все будет, как и должно быть, не беспокойтесь.

Большая муха гулко билась о стекло окна, не находя выхода в солнечный простор дня. Мать встала, открыла окно, и сенной пряностью (под окном стояла маленькая копна) пахнуло ей в лицо.

Нежаркий августовский полудень сгустился блестящими летучими паутинками над красно-зеленым ягодным палисадом, над огородом с пожелтевшими огуречными грядками, с опущенными к земле тяжелыми кругами подсолнухов.

Ефросинья вышла на крыльцо, и в ограде стихло. Она медленно спустилась по голоси-

стым ступеням крыльца, оглядела двор, и Ивану показалось, что мать будто хотела что-то сказать ему. Он было привстал, но она, не останавливаясь, пошла к огородной калитке, вышла, как всегда, тщательно закрыв ее за собой, и скрылась за домом. Разговор во дворе возобновился.

— Ефросинья еще совсем молодуха, — заметила одна из бартеньевских. Бартеньевских на похороны старика Скуратова приехало много. Директор выршил грузовик — бывшего председателя сельсовета помнили и уважали.

— Чего ты хохь? Она чуть не вдвое моложе Лукьяна-то! — глядя вслед хозяйке дома, ответила женщина постарше.

— Ну уж и вдвое, — не согласилась стоявшая с ними рядом местная. — Просто, мужики изнашиваются более: от табачища да от водки! Они к нам приехали — у нее уже все трое были, ребятишки-то...

— Он ее девчонкой и взял. Во время войны. А ребятишки что. У меня у самой к двадцати годам двое за подол держались. — Женщина затынула туже концы платка под подбородком. — Лукьяна-то из района прислали. Когда по ранению руку потерял, с фронта вернулся. Ефросинья в Заготзерно весовщицей работала, вроде отца заменила. Он как ушел в сорок первом, так и канул без вести. Так бы ее, конечно, не поставили. Дело, известно, мужицкое, а где их брать было, мужиков? У Ефросиньи грамотешка была. В Еловке четырехлетку окончила. Ее и поставили. А там недостача и вышла. Ну ее забрали, да в район. Вон Астраханцев сидит, может подтвердить. А Лукьян ее вызволил, он у нас один партийный был. Вызволил и привез назад, да к себе домой. Еще в старый дом. В нем все председатели сельсоветов жили. Первоначально он у брата, Илюшкиного отца, квартировал. А тут отделился. Свадьбу сыграли, так в доме, кроме стола и лавок, ничего не было.

— Он, Лукьян-то, хоть и без руки был, а свое ни в жизнь не упускал, царствие ему небесное! — старательно, но неумело перекрестилась женщина...

О Лукьяне шел разговор и среди мужиков, сидящих в противоположной стороне от женщин на посеревиных от времени тесинах. Иван, проводивший взглядом мать, тоже подошел к этой компании. Мужики потеснились, освобождая ему место возле Алексея, такого же, как Иван, высокого, круто обкатанного в широких плечах, с тонким туманом седины в густых светлых кудрях.

Илья, по всему видать, успевший уже помянуть дядьку, тормозил рядом сидящего бартеньевского старика Степана Астраханцева.

— Ну, да чего ворошить, что было! — несердито буркнул тот, поглядывая на братьев, — потом мы с ним замирились, с Лукьяном. Сперва я зуб имел на него, но был он огонь. В районе — все друзья. Начальник райотдела — с ним в одном полку служил, понимаешь. Он нас и помирил. Меня тоже очень уважал. Бывало, говорил: «Вас, Астраханцев, двое в Бартеньевке, поставленных Советской властью закон блюсти. Ты и Скуратов, и должно меж вас быть понимание». Так и сказал! Хотя Иван вполуха слушал мужицкие разговоры, при этом каким-то неожиданным для него самого взглядом некоторого удивления, полузабытого узнавания разглядывал до последней щепочки знакомый двор, заполненный неподдельно скорбящими односельчанами. Взгляд его медленно передвигался с постройки на постройку, пока не остановился на далеком, видневшемся за огородом бугре. Лобасто и голо высунулся он в сторону деревни, словно бы поставленный в давние времена для испытания коня на силу, а ездока на решимость. Там под кронами дальних сосен, выглядывающих темными вершинами из-за пролысины бугра, петляет старая дорога. Нынче по тому лесному пути ездят редко, только разве за сеном. По низине отсыпали новую, гравийную. А Иван не раз с отцом на телеге колесил по тем таежным колеям... Он будто бы воочию увидел, как вьется она меж стволов, выбегая иногда к широкой ягдодной поляне с размашистыми березами. Ездили они с отцом на пилораму, собирались строить гараж, договаривались о стройматериалах.

Вообще-то Скуратовы, и старики и дети, редко бывали в родной деревне после переез-

да в Ильинку. И как припоминает Иван, именно с Бартеньевкой каким-то образом связаны те немногочисленные и тихие ссоры между родителями, которые сумеречным несчастьем обволакивали шумливый скуратовский дом. Внезапно же, как летняя дождливая хмарь, размолвки те исчезали и забывались к радости маленьких обитателей дома, чаще, пожалуй, от неожиданной отцовской придумки. А на сюрпризы и подарки тот был большой охотник.

Ивану, конечно, больше всего памятен мотороллер, который отец выкатил к крыльцу школы в день окончания сыном седьмого класса...

А вот как раз из-за подарка бартеньевскому бригадиру Гурьянову к пятидесятилетию и был у них последний разлад, памятный Ивану, — он с семьей на выходные по обыкновению приезжал. Годы три или четыре назад мать отказалась поехать с отцом на торжество. Отец должен был вручать грамоту и подарок от имени соревнующегося хозяйства. В Бартеньевке же, случилось, у тетки Таисьи какой-то праздник или день рождения был. В памяти у Ивана сохранился теплый июльский вечер. Июльский, помнится, потому, что в этот день закончили метать сено. Окна в доме растворены. Шумно, людно, радиолы поет. Откуда-то прибегает Наталья, расстроенная, зовет Ивана во двор разнимать теток. Или Скуратова мать вцепилась Таисье в волосы и пьяно орет на всю деревню, что та ведьма, если ее Фроська-дура терпит, то ее мужик не общественный бык, и на Таисью присушку она плевала, а ее, потаскушку, все равно изведет. Ивану от своей Натальи уже приходилось слышать, что бартеньевские бабы судачат об отцовских шапках с Таисией-теткой, но зная вздорность Ильюшкиной матери, он словам ее не поверил, а жене наказал, чтобы раз и навсегда запомнила: «Судить стариков нам не пристало, а тетка ему вторая мать».

У тетки жизни что-то не получилось. Мужик ее бросил. Еще по молодости съехал в другую деревню, женился, детей повырастил. Таисья же при скуратовских домах все в помощницах... На вид тетка справна и приглядна всегда. Своего хозяйства большого не

держала, детей не рожала, не изработалась, не надсадилась. В последнее время, пока отец болел, она жила в их доме. Обиженному человеку в первую голову хочется найти первопричину обиды. Когда же он ее мысленно схватывает, то и топчется вокруг, не в силах отвергнуть, словно бы заблудившийся в лесу, мечется кольцами вокруг одних и тех же сосен. Иван, припоминая соседские суды-пересуды, теткин хозяйский тон в домашних разговорах, вдруг сообразил, что не только доля горькой правды во всем этом есть, но что, видимо, замышляет тетка отнять у них, у детей, дом, раз мать к себе переманила!

Покаянные слезы ее были не чем иным как притворством. Дом! С домом уж нафантазировал Лукьян Скуратов! Дом о двух этажах. Стоял он подле рощи (от него потом новую улицу начали), детские комнаты наверху, с рублеными стайкой, сараем. Место было праздничное, на всю деревню горели в закатных огнях его стекла. В застолье не раз Лукьян похвалялся:

— Дом внуку отпишу — младшего сына сынишке! Он в агрономы пойдет! Мне некогда было с науками возиться — а важнее на селе человека негу! Детей город заманил, да, слава богу, внук вроде земной уродился. Выучится, женится и командовать станет Валерий Скуратов всей совхозной землей!

Мальчишка на покосе, в огороде у деда был первым помощником, хотя и всего-то одиннадцатый год!

Дом описать старик вполне мог. По теперешним же временам самая скромная цена ему не менее десяти тысяч! А то и все пятнадцать! И что же получится, если мать у тетки станет жить? Мать-тихоня всю жизнь отцу молчанкой только и перечила, а уж сестрицу прямо благоволит.

Отгородила Ивана обида от всего. Вроде бы и не он просидел всю прошедшую ночь на крыльце, по-детски жалостливо вглядываясь в мерцательную немоту звезд. А они молча нашептывали о том времени, когда им приходилось видаться совсем по другому поводу, на берегу реки, подле потухшего костра.

И они так же мерцали, а он, мальчишка, проснувшийся не то от хруста ветки в при-

речных кустах, не то от рыбьего всплеска, тревожно глядел на пугающее безбрежье ночного неба.

Оно было огромно и страшно, властно требовало к себе. Пытаясь уберечься от его омутовой стужи, мальчишка торопился плотнее прижаться к спящему рядом отцу. Тот и во сне чувствовал тревогу сына, своей единственной рукой осторожно обнимал хрупкое тельце, и покойная радость безмятежным сном разливалась от привычной тяжести отцовской руки.

Она отгораживала от всяких бед, заслоняя от всего, что еще могло злого ходить по земле. И хруст или всплеск на воде, испугом разбудивший мальчонку, теперь ему слышался приятным предвестием долгого счастливого рыбацкого дня. Теперь же сам Иван ездит на рыбалку с сыном, но ночью, глядя в слепящее мигание звезд, он вдруг почувствовал тот самый тоскливый детский страх, который так легко снимала с его души отцовская рука.

— Мужик-то Лукьян справедливый был, — слышит Иван, и горькая печаль опять забродила, ударила в голову, но уже с облегчающей душу признательностью к мужикам за добрую память.

— Справедливость — она, как ее поглядеть, — заметил Астраханцев. — К примеру, для овсюга пшеница сорняком выходит, эвон как!

Эти слова Ивану не понравились. Он в них заподозрил намек на что-то и уже хотел поинтересоваться у деда, к чему эта присказка, но в это время его окликнула жена.

Наталья стояла в растворенной огородной калитке, гримаса ужаса так изуродовала ее лицо, что Иван, испуганно вскочив, в несколько шагов преодолел все пространство, разделяющее его от жены, и, не зная причины, схватил ее за руки. Все это не осталось незамеченным, и кто был во дворе, заспешили к калитке.

— Мама, — невнятно произнесла Наталья. От страха ее большой рот искривился. Иван попытался, отстранив жену, пройти в огород, но та стояла на месте и все повторяла.

— Ваня, мамы нет! Нет мамы! Да что же это такое! — громко выкрикнула она.

— Ма-а-ма! — в отчаянии звал Иван, и в какой уже раз шел между грядок, по засохшей картофельной ботве, боясь найти ее там...

Подталкиваемые страхом, братья между тем оглядели баню, нужник, несколько раз обошли весь огород, затем вернулись в дом. В горнице, на том месте, где еще недавно стоял гроб с телом хозяина дома, был накрыт поминальный стол. Благообразно сидевшие за столом старики и старушки повставали с мест и вместе с хозяевами заторопились к выходу.

Они сгрудились на крыльце, удивленно и испуганно перешептывались, кто с жалостью, а кто и с тихим злорадством наблюдая за Скуратовыми и рассуждая при этом:

— Гордая она, Ефросинья, шибко была с девок еще! Сядет к столу, бывало, так только что ложку ко рту подносит, и вроде все ей не по вкусу.

— Так все же по-городскому жили. Из одной чашки ни в жизнь. Тарелок наставит каждому. Мальчишек в район в школу на коне возили.

— Ну дык и всех потому стали возить!

— И все в жакетки наряжалась...

— Одевал-то он ее как краплю!

— Чего ее-то. У матери ейной плюшевые польты не выводились. Сроду одни обутки на всех были, а как Лукьян-то объявился, все в резиновых сапогах стали ходить, да еще с каблучками.

— А чо уехали из Бартеньевки? Здесь к городу ближе, и дом с отоплением городским, да, видать, с глаз людских подальше.

— Лукьяна сюда по работе перевели! И дом он сам ставил.

— Вот дело — перевели! Твое-то от коров до самой пенсии не перевели. А поставить дом тоже по-разному можно...

— Дык чо она изделала, Ефросинья? Это же горе, бабоньки! Однако с ней где-то худо. Как это живому человеку затеряться? Чо они в дому-то шарят?

Ульем гудел от разговоров скуратовский двор, а братья с женами и Таисья сошлись на кухне.

— Она ко мне подошла — как приехали, — здесь, на кухне, размазывая по лицу краску платком, утирая слезы, тихо проговорила На-

таля, — сказала, соль не вздумайте ставить. Говорю, вы бы шли отдыхать, мама. Позовем вас, как сделаем. Я думала, пошла она по своим делам. В голову не пришло самой доглядеть или тебе наказать. Куда делась-то? Может, что с головой? За все эти дни ни слезинки не проронила.

— Ваня, Алеша! — кособочась, прикрывая рот, тяжело переваливаясь, продвинулась к окну Таисья, из которого были видны прикрытые воротца из огорода на выгон, в дальнем углу которого стоял стожок сена. Таисья привалилась к оконной раме и, указывая пальцем на воротца, вполголоса закричала:

— Ой, да чего ж ты удумала сделать, Фрося! Да и чего это я тебя не уберегла!

На голос ее в кухонную дверь сунулись черноплоточные старушки.

— Замолчи, тетка Таисья, — прохрипел Иван, зыркнул по сторонам из-под лохматых бровей. — Наталья, садите людей за столы. Мы тут сами разберемся! Идите, мамыши, идите, — смягчая голос, выпроваживал он старушек, — помяните отца как положено. Сейчас все уладится! Ты слышала, Наталья? — окликнул он жену.

В том, что мать жива, Иван не сомневался. Страх потери, еще минутой назад кидавший его в растерянности по двору, по огороду — отступил. Теперь обида горячее, обжигающей волной так ударила в голову, что зашумело в ушах. Он глядел на приоткрытые воротца, на уже тихо плачущую тетку и понимал, что тут рядом и отгадка всему.

— Ну, тетка Таисья, — приступил Иван к старухе, — объясняй.

— Когда б я знала — такое выйдет, ужель промолчала, сынок? Она мне что сказала? Примешь меня к себе? Ну, думаю, отведем все по-людски, а там и ладно. Ко мне, так ко мне. С вами, говорю, с ребятами, все обсудим! Хочешь жить — живи! Родной сестре я супротивница, что ли? А она! — Старуха всхлинула. — На погосте еще, когда могилку уже исделали, слышу, Фрося тихо, для себя вроде, говорит: «Ну, Лукьян Спиридонич, вот мы с тобой и в расчете».

— Да ты чего душу тянешь! — Иван начинал соображать, что во всем случившемся вино-

вата тетка, наговорившая чего-то матери в самый неподходящий момент. Он вдруг вспомнил, как однажды с теткой крупно поссорилась Наталья.

— Куда могла мать деваться?

— Видать, сынок, в Бартеневку ушла. Я же сказывала, у меня она жить собирается. — Тетка пальцем ткнула в стекло, за ним выдилось, как за поляной круто лез на бугор сосняк, таивший в своей зеленой тишине полузаброшенную конную дорогу.

— А поминки? — растерянно спросил Иван. Ему показалось, что за красно вспухшими веками тетких глаз, за неласковой их похожестью на материны притаилась удовлетворенная мстительность. Кровь высветливает, вымывает затерявшиеся на дне памяти какие-то обрывки обидных разговоров, связывающих воедино имена отца и тетки...

— Ну, тетка Таисья! — Загустела в сузившихся глазах зелень, и теперь уже на лице племянника вычитывает себе осуждение старуха, отчего принимается громко причитать:

— Ну зачем я дожила до этого? Да и что же ты наделала, сестрица моя, Ефросиньюшка!

Снова страх сжимает Иваново сердце. И, обуздав себя, он как можно спокойнее спрашивает:

— Отчего же она к тебе-то собралась идти, тетка Таисья? Это же ее с отцом дом. Дети их тут выросли, внуки. Где же подобное видано? Рехнулись вы с ней? На всю деревню позору! Да чего там деревню! Скуратовых весь район знает, а там и до шахты дойдет! Это ты, тетка, матери что-то напела, а та и поверила! А может быть, у нее в самом деле что-нибудь с головой? — Нечаянно выговоренная догадка напугала не только его, но и Елену — жену брата, загородившую спиной от постороннего глаза кухонную дверь.

— Господь с тобой, Ванюша! — всхлинув, оправдывалась тетка. — Кабы я знала! Говорю тебе — ни сном, ни духом! На кладбище, когда оградку ставили, она мне и шепнула: «К тебе жить перееду, сестра!»

— С Натальей, может быть, не поладили? — Иван резко отвернулся от тетки, сделал несколько шагов по направлению к двери, рукой отстранил с порога сноху и быстро

вышел на крыльцо. Решение к нему пришло неожиданно. Во дворе, не обращая внимания на толкавшихся там любопытных, он пошел к своей машине.

Когда собирались на похороны, Иван заявил жене, напомнившей ему, что им придется договариваться о материнском жилье, о доме:

— Где сама захочет, там и будет жить. А дом они с отцом строили, ее он и есть! — И отступаться от этих слов у него не было в помыслах. Но внезапно прояснившаяся ситуация коренным образом меняла суть вопроса! Большие всего его возмутили расторопность и бессердечность лицемерной тетки и слепая покорность матери. Как же должна была ослепить и оглушить обида, чтобы обречь их скуратовский род, — разве в деревне забудется подобное, — на вековой позор? Какими же страшными словами против детей напугала ее тетка, если мать не побоялась бросить их на жестокость и неумность людского суда? А что, если это у них давнишний сговор? Да бог с ним, с домом, если мать хочет быть одна его хозяйкой, но отчего же такое нетерпение? Отец-то! Разве не всю жизнь родители прожили на зависть соседям и всей родне?

В самом деле, жили Скуратовы, как говорили в деревне: «дай бы бог так всем жить!» Люди брать не станут, все ведь у них на виду. Ну, а то, что в душе у человека, так он ведь и сам другой раз того знать не умеет! Бывает, оно тлеет в нем исподволь, как искорка во мху. Может, так и не всплеснет высоким огнем. Может, даст о себе знать сердечным подкалыванием. Случается же вдруг: охолодит страхом-тоскою и будто оказываешься ты в безвылазном, тесном колоде. Вот такая охолодь и подступила к Ефросинье.

Правда, оно будто бы исподволь все-таки подбиралось. Впервые Ефросинья почувствовала это, когда, сидя у мужниного гроба, увидела в дверях горницы старшего сына — будто бы молодого Лукьяна.

И потом: и днем, и ночью ходили ли дети по дому, поднимались ли в свои комнаты, подходили ли к ней, различала она Ивана, не оглядываясь, как всегда угадывала по шагу

Лукьяна. До самого того дня, когда внезапно он занемог, слег и более не поднялся с кровати, ходил он по-молодому легко, мягко, с носка.

Она нарочито не примечала этого, а как подошел к гробу Иван, услышались ей Лукьяновы шаги. И увиделся он ей тем, молодым, в военной форме, подпоясанным широким ремнем, ступившим через порог тихим хромовым сапогом.

Во время болезни мужа Ефросинье некогда было раздумывать ни о прошлой, ни о текущей жизни. С утра до вечера хлопотала она у его постели да по хозяйству. Если бы не сестра Таисья, которая через неделю, как занедужил Лукьян, перебралась к ним, совсем тяжело бы пришлось Ефросинье. Таисья ездила в район за лекарствами, составляла какие-то травяные припарки. Она же однажды и заговорила с Ефросиньей о пенсии на случай Лукьяновой смерти.

Да, поди, бог даст, поднимется, — отмахнулась Ефросинья, — чего живого-то хоронить? — На том они и отступились от разговора; правда, Таисья спросила сестру:

— Жалко его тебе?

— Тебе самой-то разве не жаль? Как мается-то, глянь, — ответила Ефросинья и впервые заплакала. Плакала она и в ночь смерти мужа.

— Ништо, прожили, да и ладно! — успокаивала сестру Таисья.

А уж когда обрядили, когда она увидела его лицо, хоть и мертвое и до странности изменившееся, но как будто и не стариковское, а восковой слепок с его молодого, усталого лица, слезы остановились где-то там, в груди, мешая пробиваться дыханию. Она уже не слышала разговоров вокруг. Видимо, для нее настало то единственное время, в котором человек вроде бы и не живет, а оно живет в нем, замкнувшись в безвыходности событий.

Таисья о чем-то спрашивала ее, а она молча кивала согласно или отрицательно, сидя у гроба, не сводя глаз с лица, фотографической похожестью отдаленно напоминающего ее самое. И при появлении старшего сына, лицом схожим с живым Лукьяном, в ее оценке произошел какой-то разрыв.

Ивану не показалось, что он увидел, она на самом деле мелькнула — настороженная отчужденность, только относилась она не к нему, а к тому, так же ступавшему с носка с нажимом, такому же кудрявому, в ките без погон, бывшему лейтенанту, который неожиданным и самым странным образом вдруг посватался к ней, Ефросинье, зимой сорок четвертого года, когда она, шестнадцатилетняя весовщица бартеньевского Заготзерно, находилась в камере предварительного заключения, обливаясь слезами, все считала и пересчитывала в уме пуды зерна, не умея взять в толк, каким образом у нее образовалась недостача.

Убитая горем мать, славшая сестру Таисью за восемнадцать километров в райцентр по заснеженной дороге пешком с передачей — десяток, другой картошек «в мундире» — с просьбой покаяться, вдруг заявила сама «в кутузку», как она называла милицию, и на свидании, утирая слезы платком, сказала, что председатель сельсовета безрукий Лукьян Скуратов велел передать Ефросинье: если она согласится выйти за него замуж, то он через своего знакомого, начальника милиции, сумеет прикрыть дело...

Он хоть и был более чем вдвое старше Ефросиньи, но, даже и без руки оставался красивым, энергичным, балагуром и песенником, о котором вздыхали многие девки и молодухи в Бартеньевке. Лукьян же сразу по приезде в деревню заприметил Таисью, определил ее работать в почтальонки, на своей лошади подвозил в райцентр. С Ефросиньей же всегда разговаривал шуточно, как со всеми девчонками. Однажды на вечерке у Дудурихи (у нее издавна в избе зимой «женихалась», как говорили в деревне, молодежь), когда весело и визгливо девки перекликались частушками, Лукьян, дыхнув на Ефросинью смесью самогона и самосада, прошептал:

— Совсем заневестилась, Фросюшка, если посватаю, замуж за меня пойдешь?

— А чего не пойти! — отшутилась она. — Ты на всю деревню один жених. Только Таисью-то куда? Не чужая она мне, да и тебе, говорят...

— Говорят, за морем кур доят! — еще раз

дыхнул на нее Лукьян. На том и кончилось. Однако на следующий день он заявился к ней на склад. Посидели, поговорили, и он ушел. И с тех пор нет-нет да и забежит. В деревне все на виду. Мать ей как-то украдкой выговорила: «Гляди, Фроська, с мужиком. Да и сестру не позорь!» А Лукьян будто бы подслушал тот разговор. Пришел однажды в склад, да так и заявил: «Выходи за меня замуж!»

Ефросинья засмеялась:

— Что ты, дядя Лукьян! Ты вон власть какая.

Стал он ей подарки носить. А дома Таисья в слезах ходит. Когда же он однажды своей одной рукой так крепко обхватил Ефросинью, что у той и дух захватило, поняла она, что не шутит Лукьян, и объявила ему, что вовек тому не бывать. Еще ни разу до того не видела она его таким побледневшим, таким злым. Он только и сказал: «Ну гляди, Фросюшка». И более подле себя она его не замечала до того времени, пока приехавший вслед за ревизором милиционер из центра не арестовал ее...

На другой день после посещения матери Ефросинью привели в пустой кабинет начальника милиции, куда почти следом, ступая на носок, в хромовых сапогах, вошел Лукьян Скуратов.

— Напрасно ты, Фрося, ломаешься, — без долгих слов начал он, — еще одну ночь ты сегодня подумай, время уже не ждет, завтра ты скажешь — да или нет. В камере не жарко, быстро не уснешь, вот и подумай о молодости, о красоте своей. Конвоиры где-нибудь на пересылке быстро разберутся. Время военное, как-никак... Я ведь жалею...

На следующий день, проплакав всю свиданку с Таисьей, и послала Ефросинья через сестру свое согласие Лукьяну.

— Бабыя доля злая, — утешала сквозь слезы младшую сестру Таисья, — а нынче и во все. Гляди-ка, наших женихов вон как война повенчала! А Лукьян и при месте хорошем, и у начальства в почете, и с любовью к тебе! — И по испуганным глазам девчонки видя, о чем более всего та переживает, Таисья шепнула ей на ухо: — А что про меня, так это

ушло, стояло внешним снегом и без возврата!— И ни разу не отступилась от своих слов, не нарушила Таисья клятвы, данной ею в холодной кутузке, хотя Лукьян насчет своей ченицы свои помыслы никогда не оставлял. Правда, видит бог, Лукьян любил Ефросинью. В работе, по возможности, берег, по праздникам одаривал подарками. В деревне бабы завидовали ей, в глаза и за глаза называли счастливой, а Ефросинье в тягость было носить единственный тогда на всю деревню живот и особенно, когда вернулся с фронта, тоже по ранению, Пантелей Гурьянов. В крестьянских заботах терпелось, забылось.

А когда, случалось, Лукьян корил ее за неласковость и сдержанность в любви, то искренне удивлялась Ефросинья, не понимая его. Мужик Лукьян был удачливый в хозяйских делах, на работе уважаемый, начальством ценился, дети его любили, а он их щедро баловал. И все же была в родительском согласии та молчаливая лукавинка, которую разглядела, повзрослев, дочь. Однажды на сенокосе она спросила у матери:

— А ты, мамка, по любви замуж вышла? Не сразу нашлась, пока ответила:

— А разве нашего отца можно не любить?

— Отчего же ты его не любишь?— От такого вопроса Ефросинья растерялась, пытаться у дочери, как та разглядела, не решилась, а только сердито отговорила:

— Вот погляди, как у тебя в семье-то будет.

За больным Лукьяном Ефросинья ходила с терпеливой надеждой на его выздоровление, первоначально стараясь все больше делать сама, стесняясь Таисьиной сестринской жалости. Но та в конце концов оттеснила Ефросинью, молчаливо приняла на себя тяжкие заботы постоянной сиделки, а после смерти Лукьяна и хлопоты по хозяйству.

С того самого момента, когда звук сыновних шагов тревожным голосом памяти потряс Ефросиньину немоту, в ее измученном бессонницей сознании одно за другим стали появляться видения: то просящая о какой-то жалости мать, уговаривающая выйти ее замуж, то заплаканная сестра, шепчущая Ефросинье слова об отступничестве от Лукьяна, то непо-

нятная тоска, гнавшая ее в первые годы жизни в новом доме в огород, в поле.

Из Бартеньевки Скуратовы уехали, когда Лукьяна назначили начальником почты в соседнюю деревню Шумилино. Мужик верткий, шумливый, любитель погулять, сам хлебосол, Лукьян числился всегда в районном активе, и начальство все ходило у него в дружках.

Ефросинья, как большинство деревенских баб, в мужнины дела не встревала, может быть, сердцем чувала в лукьяновских гулянках и свою вину, отчего и терпела молча; но однажды, когда начальник почты, вернувшись из района, где пропадал дня три, ни слова не говоря, взяв тулуп, ушел отлеживаться на сеновал, собрала Ефросинья ребятишек, их тогда еще двое было, и подалась с ними в Бартеньевку.

У нее не было тогда никакого твердого намерения бросить дом или пригнать мужа, просто изнылая душа толкнулась слезой к родному углу. Но когда Лукьян, нагнав на лесной дороге, привез их на телеге назад, в Шумилино, Ефросинья ступила во двор с необъяснимым чувством потери.

И потом случилось: поливает ли она грядки в огороде, копает ли землю, вдруг со стороны сосняка на бугре поманит тихий голос, отчего она на короткое время будто онемевает. С годами это прошло, однако одно осталось: избегала Ефросинья ездить, ходить в Бартеньевку по лесной дороге.

На кладбище, когда мужики, подсказывая друг другу, деловито устанавливали оградку на могиле Лукьяна, а опухшая от слез Таисья, раздавая куски полотенец, на которых опускали в могилу гроб, подошла к группе девчат, стоявших в сторонке у куста боярышника, Ефросинья словно бы увидела среди них себя молодой. И промережился тот самый туман неясного, дурманившего голову, и открылся вдруг ей великий обман всей жизни. Сестрины слезы словно бы охолодили холодом той самой «кутузки», в которой Таисья положила к Ефросиньным ногам всю бабью долю, уберегла, согрела своим горем. Но пригнувшись на обиженном одиночестве, счастье, как оказалось, настоящим покоем так и не залетело

под высокую, крытую оцинкованным железом крышу скуратовского дома.

Неосознанным, запоздалым раскаянием потянулась Ефросинья к сестре, распознав в ней одну-единственную в целом светеродственную душу. Дети, стоявшие рядом, были ее плоть, ее кровь, то есть часть ее самой, неразрывная ее часть, и не дано им сопережить с ней ее не материнскую, а человеческую, женскую боль.

А Таисья, мученица Таисья, сердцем неожиданно приняла, и может быть, вот сейчас и простила ей, осиротевшей, свое горемыканье и опять протянула охранительно руки помощи...

— Таисья, примешь меня к себе? — спросила Ефросинья сестру, еще и не зная сама, то ли она просится на жительство в Бартеньевку, то ли кается перед сестрой.

Не поняла Ефросинью и Таисья, не подозревавшая о сестриных мыслях, но успокоила ласково. Она всегда в Ефросинье видела младшую сестру:

— Хочешь жить, так живи! С ребятами уже все обсудим! — И взяв Ефросинью под руку, повела от могилы.

Зачем она вышла в огород, Ефросинья не знает. Она долго бродила между грядок, когда вдруг, подняв голову, увидела на поляне за огородом стожок, все так же черневший еще с прошлого года и словно бы поманивший забытым тихим голосом. Она отворила воротца, ступила на кошевину и пошла...

Она не слышала испуганных голосов окликавших ее. Ефросинья сидела под стожком и бездумно глядела на хмуро выпятившийся невдалеке бугор, отгородивший от нее ту самую ее жизнь, тоска по которой, оказывается, и денно и ночью жила в ней.

Сколько бы так она просидела, трудно сказать, если бы вдруг не укололась щекой о жесткую, сухую травинку.

Еле уловимая боль, даже не боль, а само живое прикосновение былинки, дохнувшей на нее легкой прелостью, неожиданно отозвалось в Ефросинье слезой. Она заплакала. Впервые за все эти дни и ночи. Слезы густо катились

по впалым щекам к подбородку, и она не утирала их.

Так в слезах Ефросинья и подошла к огордной калитке, где ее и увидел кто-то.

Иван уже садился в машину, когда его окликнула жена. Обернувшись, он увидел Наталью, обнимавшую мать.

Иван бежал к матери так, как случалось ему бегать только в детстве, торопясь к ней с порезанным пальцем. А Ефросинья, увидев Ивана, вспомнила свою вину перед ним: как не хотела рожать его, извести сначала хотела, да уберегла все та же Таисья. Потом, страшно вспомнить, желая смерти первенцу своему, надеялась: вдруг в жизни после того все переменится. Ни перед кем из детей, кроме Ивана, не была виновата Ефросинья. И потому, прижавшись к широкой груди сына, повинулась:

— Прости меня, сынок. — Иван подумал, что она о сегодняшнем переживает, стал успокаивать. Огромный, по сравнению с маленькой, худенькой матерью, он осторожно, даже бережливо, может быть впервые в жизни, обнял ее за плечи. Исчезла его обида на мать, и хотя говорил он с ней тоном старшего, но все одно рядом с ней чувствовал себя мальчишкой.

— Ма, да что ты? Перепуг прошел. Ты только тетку больше не слушай. Старая из ума выжила. Садись, домой поедem, мам!

— Ты, сынок, погоди. — Ей покойно было ощущать тяжесть его сильных рук, повиноваться им, а он осторожно подводил мать к машине. — На Таисью напраслину не наводи. Она у нас, может, святая. Мы горем ее, может, и живы все...

Ефросинья подняла голову — увидела Ивановы глаза, просительно по-детски смотревшие на нее. И уже не он, а она своими тонкими руками привычно крепко держит его большого, растерянного, уже не он, а она заступничествует перед всем миром, заполоненная вновь до безрассудного самопожертвования материнским беспокойством, сила которого не сравнима ни с одним из человеческих чувств.



ЗАЗИМЬЕ

Листва с берез пооблетела,
Едва настали холода.
Потяжелела, потемнела
На Долгом озере вода.
На жухлых травах иней тает,
И дали видятся остро,
И уток перелетных стаи
Роняют легкое перо.
Забыв тревоги и печали,
Макая весла не спеша,
Лодчонку углую причаляю
К прибрежным желтым камышам.
Настрою удилишко ловко
И, взбудораженный слегка,
Я буду долго ждать поклевку —
Нырка гусинки-поплавка.
Забудусь, сладко размечтаюсь
И не замечу, как душа,
Печально с летом расставаясь,
Вплывает в осень не спеша.
И станут для меня отныне
Понятней, ближе и острей
И холод вод, и первый иней,
И клик прощальный журавлей.

* * *

Живет на свете женщина
Невесело и странно,
Как ветер, переменчива,
Как совесть, постоянна.

В ней боль земная смешана
С последнею надеждой.
Живет на свете женщина
Красивой и нездешней.

Свои глаза-печалины
Она несет по городу
До смелости отчаянно,
Возвышенно и гордо.

С путями этой женщины,
Задумчивой и строгой,
Случайно перекрещены
Мои пути-дороги.

Я знал ее любимого,
Любимого, неверного,
Никем не заменимого
В душе ее, наверное.

Рассветы, весны, осени
С ним накрепко запомнены...
Куда его забросили
Дороги заокольные?

Ужели его, грешного,
Ни разу не окликнула
Тревога этой женщины,
Любовь ее великая?

Прошу у жизни малости,
Прошу у жизни милости—
Не доброты, не жалости,
А просто справедливости.

* * *

НА КАТЕРЕ

Как в доме холодно у нас,
Как в зимнем поле.
И сердце будто в первый раз
Свело от боли.

Неслышно льется свет ночной
В окно слепое
И странно то, что ты со мной
И не со мною.

Ты утешаешь:—Не горюй...
Снежинки кружат
По ноябрю,
По декабрю,
По лютой стуже.

Им долгий век еще кружить
В полночной дреме.
А нам бы зиму пережить
В холодном доме.

СЛАЛОМИСТ

Ах, какие он петли накручивал!
Как летел оглушительно вниз!
Я не знал слаломиста лучшего,
Ах, какой это был слаломист!

Он, в герои судьбою выбранный,
Не боящийся ничего,—
Я завидовал всеми фибрами
Совершенству и силе его.

И шептал:
—Я смогу, сумею
Быть достойным в такой игре,
Если даже сломаю шею
Вот на этой крутой горе...

Я смотрел на него—
О, боже,
Как он рушился с высоты!—
Ощущая всю безнадежность
И волшебность моей мечты.

По-над Томью шалит ветерок.
Все—зеленое и голубое.
Я на катере вместе с тобою—
У тебя золотится висок.

Пусть сегодня покажется нам,
Что для нас будет вечным с тобою:
Сверху, снизу—одно голубое,
В середине—одно золотое,
И зеленое—по сторонам.

Но известно, что нету конца
И начала смешения красок.
В мире мало пространства

для сказок —
Позовем же их в наши сердца!

Сколько выпадет новых дорог
В поездах, кораблях, самолетах!
А сегодня нам надо всего-то,
Чтобы плыл не спеша катерок.

* * *

Золотоволосая девочка Рая.
Глаза—в оправе.
В малине—рот.
Телефонный номер набирает
Словно лепестки
Ромашки рвет.

Занято, занято,
Еще раз—занято...
Падают бусинки
Коротких гудков.
Лепестки ромашки
Белою заматью
Крошатся, как перья
Перистых облаков.

Как возвышенно
Это падение.
Девочка Рая—
Осени цветок.
Медленно-медленно
До головокружения
Падает надежды
Последний лепесток.

* * *

Соберу рюкзак походный,
Затяну ремни покрепче,
Не взирая на погоду,
Двину в гости к дальней речке.
Три осилив перевала,
По тропе неторопливой,
По-хорошему усталый,
Выйду к речке говорливой.
И скажу ей:
—Сделай милость,
Не сердись, что долго не был.
Ты зимой мне часто снилась
Под высоким горным небом.

Я к твоей воде хрустальной
Припадал во сне губами,
Словно стих исповедальный
Я тебя читал на память.
Переливом-переладом
Мне ответит тихо речка:
—Не хвали меня, не надо.
Относись по-человечьи
К этим взгорьям, к этим долам,
К вольным птицам,
К буйным травам.
Будь счастливым и веселым.
Отдыхай себе на славу.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

* * *

Нет ничего превыше доброты.
Но почему, при этом убежденье,
Лишь красоте приносим мы цветы,
Лишь перед ней склоняем
мы колени?

* * *

Играй в любовь, пока есть силы
И жар душевный не затих,
Пока любовь не отомстила
И за себя, и за других.

* * *

Меж берегами катится волна,
Весенней силой бешено играя.
Как будто своенравная жена,
Крутой—грызет,
Пологий—обнимает.

СТАРОМУ ПОЭТУ

Твоим страстям перебродить,
Как видно, не дано.
Но кто сумеет оценить
Столетнее вино?

* * *

Прости, любимая, прости.
В том виновата жизнь,
Что наши не сплелись пути,
А лишь пересеклись.

* * *

Упрека матери страшнее нет:
«Зачем тебя я родила на свет?».
Но горше нету осознания зла:
«Зачем на свет меня ты родила?».

* * *

Завидую птице парящей
В крутой голубой вышине,
Ее незаемному счастью
Ни в чем не завидовать мне.

СТАРИКОВСКИЙ ЭДЕМ

РАССКАЗ



Дед Василий Сышкин, по-местному батька Василий, пережил третью свою старуху. Когда умерла бабушка Прасковья, ему уже перевалило на восьмой десяток. И люди говорили, что вроде бы он еще и после сорокового дня горевал о ней не меньше, чем о прежних двух, хотя была она ему при жизни не иначе как наказанием господним.

Действительно, незаурядная была бабка. Махонькая, вся как будто составленная из сухих палочек и дощечек, она то играла, то нешуточно дралась с мелюзгой из-за какой-нибудь куклы или тряпицы и, одержав победу, торжествующе сверкала глазами. Если же иная вопящая на всю улицу сопля успевала улепетнуть со своим трофеем, бабушка Прасковья сотрясаясь обессоченной плотью, яростно стучала кулачком по ладошке:

— Отдай, дохлятина!

В ответ на упреки и уговоры обиженно забивалась в угол и не выходила из него часами, молча отмахиваясь от всех лучиноподобной ручонкой.

Среди родных батьки Василия и общих знакомых имя капризной старухи стало даже как бы нарицательным. И взрослым, и детям при случае пеняли:

— Не маши рукой, как баушка Праскева.

Сколько помнится, ютились старики в банной пристройке. Батька Василий сочинил ее сам, не желая стеснять семейство своей дочери — тетки Раисы и ее мужа — дядьки Алексея, хотя место в просторной бревенчатой избе, без сомнения, нашлось бы: повзрослевшие дети жили своими домами, осталась лишь шестилетняя Зинка — последышек.

В стариковском жилище не было другой обстановки, кроме железной кровати, лавок да верстачка, который служил и обеденным столом. В погожие дни верстачок переносился во двор, и батька Василий творил свои полуплотничьи полустолярные произведения на глазах у любопытной и небескорыстной соседской детворы, изредка одариваемой красивой стружкой, а то и затейливой бакулкой. Но вообще-то батьку Василия ребятига дичилась из-за его, вероятно, вызванной тугоухостью, всегдашней замкнутости и неожиданно странных вопросов, которые он, поманив какого-нибудь заинтересовавшего его мальчика, выкрикивал истошным тенорком и с болезненным выражением на лице:

— Ты чей внук будешь?!

— Батьки Ив́анов.

— То-то, я гляжу, вылитый батька Митроха. Ну, как он жив-здоров?

— Батьки Ив́анов я,—отвечал пораженный малыш и жалобно причитал, видимо, подражая своему недужному деду:— Ноженьки у него изболелись, рученьки...

— А-а... То-то его не видно стало... Ну, царство ему небесное.

И батька Василий, снова безучастный к окружающему, уходил в работу. Итогом являлся очередной громоздкий буфет с аляповатыми филенками и балясинами, которые старик умудрялся вытачивать на токарном станочке, сооруженном из ножной швейной машины. Такие буфеты, похожие на причудливые замки, можно было увидеть не только в рубленых избах городской окраины, но и в коммунальных домах центра шахтерского городка. Так что деньги у батьки Василия водились, тем более тратить их было особенно негде: дядька Алексей, хотя и гордился своим делом шахтового отпальщика, предпочитал, по привычке бывшего крестьянина, жить чуть ли не полностью натуральным хозяйством: стайка с коровой-полутораведеркой, отдельный загон, где в теплой жидковатой грязи нежилось не меньше трех чушек, вместительный обведенный по изгороди малинником огород, где произрастало все самое необходимое — от картошки до самосада. Однако же ни в чем не нуждаясь среди этой благодати, вид батька Василий имел неухоженный, носил одни и те же заскорузлые порты и незапоясанную косоворотку, белесую от въевшейся древесной муки: у тетки Раисы руки до него не доходили, а бабушка Прасковья все свое время отдавала занятиям с любимыми цацками. Старик потерпит-потерпит да и запрячет их, либо выбросит. Так случилось и незадолго до ее кончины. Мстя ему, она улучила момент и спихнула его в подпол, который он собирался подправить. Батька Василий, обычно смирный, выбрался из западни до невменяемости рассвирепевший, и если бы при падении у него не вырвало топор из рук, о черен которого он, как потом выяснилось, сломал ребро, история могла закончиться ужасно! А так — бабушка Прасковья отделалась лишь потерей сережки и разодранной мочкой. Впрочем, та-

кой исход мало что изменил в судьбе старухи. И раньше, как она ни пользовала себя чаем с перцем, ее постоянно бил сухой кашель. А тут совсем слегла в сильной горячке да так больше и не пришла в себя.

— Дождалась смертушки,—переговаривались соседские старушки на кладбище, прикасаясь к губам концами черных головных платков.— А и чего жить-то?.. Ни дитятки, ни агнятки...

После похорон батька Василий замкнулся совсем. Чуть оправившись, он не давал ни минуты покоя узловатым рукам с изношенной до прозрачности кожей и дотемна простаивал у верстака, словно бы оттягивая возвращение в свою одинокую конуру. Но в дом дочери и зятя, как его ни просили, не шел тоже, отгородившись от всех молчанием и тусклыми безразличными глазами.

— Жанить надо батьку, жанить...— настырно твердила коренастая тетка Раиса, упираясь ступнями коротких крепких ног в перекладину табурета.

— Хо-о, растуды ее, эту Раису,—ухмылялся дядька Алексей,—дай хоть старику оклематься маленько.

— Нет, жанить, жанить...

Но найти бабу на выданье оказалось не так-то просто. Одни старухи не устраивали тетку Раису, другие на смотринах привередничали сами. Запомнилась одна из них — дородная, с суровым скуластым лицом и татарски тянутым разрезом глаз. Издали оглядев радеющего над верстаком старика, а потом тетку Раису, воскликнула густым голосом:

— Да никак вы расейски?!

— Какие сейчас расейски, все мы осибирячились, матушка, все мы осибирячились,—задолдонила по своему обыкновению тетка Раиса.

— И то, по разговору слышать,—усмехнулась старуха.—Осибирячились,—передразнила она тетку Раису.

— А хоть бы расейские, так что из этого?—смешался дядька Алексей, сам-то происходивший из сибирских старожилов.

— А то, что все они мшоны да лаптем крешшоны.

И в глазах старухи словно замелькали отрывочные тени былых картин.

— Понаехали они, отведали нашего хлеба, а он у нас пышный да мягкий; это, говорят, рази хлеб, травой-травы, с него и ноги не потащишь; вот у нас хлеб так хлеб, хоть топором его руби, а съешь кусочек — день сыт. А хлеб-то их — что твоя глыза, в горло не лезет. Вот тебе и расейски!

— Их ли вина, что у них всю жизнь кишка кишку погоняла?

— Нет, не говори, парень. И зависть от них зачалась, и жадность, и авели в каинов доньне творятся, и убийства пошли... Да и ликом он мне не по нраву! — резко перескочила на другое старуха.

А между тем тип лица батьки Василия нынче называли бы, пожалуй, иконописным. А тогда ребятишки находили в нем сходство с ликом Николая-угодника, запечатленном на большой коробчатой иконе в красном углу избы. Вот еще одна из причин, по которой они чурались деда. К тому же лик живой изрядно был попорчен старостью, внешние углы век отвисли, придавая всему образу отпугивающую унылость.

— Вы не смотрите на мою плоть, — подняла старуха свою изломанную ревматизмом руку, — эту болезнь я на руднике нажила. Иван, старик мой, в землю ушел, дети по свету разлетелись, вот и подалась я на шахту уголь ковырять... Да не о том я, — перебила она себя и с жаром выдохнула: — Это снаружи я старуха, а внутри — девка! Так каково мне после Ивана, за коего я уходом пошла, не на его лик смотреть да слушать, как не по его языком ворочают, — улиса, куриса... Да и грязнули расейски... Навидалась! Иная встанет и неумывахой к печи: «Муха́ попала!» — а сама лезет в чугунок пальцем. Тьфу ты, господи...

И вдруг цепко оглядела руки тетки Раисы.

— Вот и у тебя, девонька, козанки-то не промыты...

— Ну, знаешь, невеста, растуды твою, — буром попер на нее дядька Алексей, — вот тебе бог, а вот... так что метись отседова!

— А ты пошто меня гонишь, глыза пусто-породная! — взъерепенилась старуха. — Я вам не навяливалась... Да не пучься, не больно испугалась!.. Тьфу ты, согрешила с вами, каины. — И старуха неторопливо удалилась.

— Кержачка недобитая! — расходился дядька Алексей. — А ты, — поднес он темный кулак к лицу тетки Раисы, — чтобы больше не смешила народ с батькиной женитьбой.

Но судьба решила по-своему. Дядька Алексей еще и опомниться не успел, как в избу вкатилась невысокая пухлая старуха, довольно моложавая, с обнаженными в располагающей улыбке двумя хорошо сохранившимися зубами, что делало ее похожей на симпатичную крольчиху.

— Мне сказывали, что вашему батьке старуха нужна, — начала она несколько смущенно, поздоровавшись и поясно поклонившись, — так я согласная...

— Глянется, что ли, старик? — моментально обретая равновесие, спросил дядька Алексей.

— Только бы я ему да вам глянулась. А мне что?.. Старик работающий, свой угол имеет... А мне во как опостылено в прислугах по людям скитаться.

— Уж наш батька такой работающий, такой работающий!.. — завелась тетка Раиса.

— Дети-то есть? — прервал ее дядька Алексей.

— Двух сынов на войне поубивало, один на шахте погиб. Осталась дочь — Нюрка, вы, может, знаете — взамужем она за Гришкой Рыкиным. Да не поладили мы с зятьком.

Гришка Рыкин был недоброй знаменитостью городка, и его многие знали: он шофери́л на орсовской полutorке, отличался нахальством и скандальным характером, изображал из себя морскую душу, за что, как и за любимое присловье, его прозвали Якорь-Якорек. Так что ни у кого не возникло и тени ложного подозрения, что за кроткой ласковой внешностью бабушки Анфисы может скрываться неуживчивый нрав.

А нраву она поистине оказалась голубиного. Делала все легко, с веселым воркотаньем.

Батьку Василия отмыла, отскребла, одела во все чистое, и он смотрелся и впрямь женихом. Каждую субботу бабушка Анфиса до того его парила в бане, что старик сомлевал, и она его вела в жилище — как есть, даже без исподнего, — благо, что только два шага и ступить. Ребятишкам такое было вместо развлечения. Прыская смехом, они подглядывали в низкое оконце, как бабушка Анфиса в еле наброшенной на себя цветастой ситцевой простыне хлопотала, отпавшая квасом и во все неодоетого батьку Василия.

Чумоватая Зинка, ставшая еще заполошней с тех пор, как на святки ее испугали ряженые, шастала от пристройки к избе, перенося свои наблюдения.

— Мамка! Папка! Вот страму-то! И бабка Анфиза нагишом, и батька наш!.. Квасу напились, а теперь чай пьют, — орала она благим матом и опять убегала.

— Чисто эдем, чисто эдем, — смеялась тетка Раиса и, не выдержав, присоединялась к пытливым детям, хотя дядька Алексей грозил ей и обзывал «строеросовой душой». А она потом вслух отмечала, что тело у батьки на диво молодое и крепкое, и, значит, еще, слава богу, протянет он долго. И со старухой ему повезло притом.

Трогательное впечатление производили старики, когда кто-нибудь из них собирался в городской центр.

— Смотри, под машину не залезь, глухая! — кричал батька Василий, как все тугие на ухо, преувеличивающий тугоухость других. Причем неподдельная забота и тревога на его лице никак не соответствовали грубоватым словам.

А потом роли менялись, и волновалась бабка.

— По сторонам-то поглядывай, ведь совсем глухой — как пенек! — тоже кричала она ему, а глаза ее были преласковыми.

Конец этой коротенькой идиллии положил Якорь-Якорек, когда ранним теплым вечером старики чаевничали, примостившись у порожка своего жилища. Шумно распахнув калитку, Гришка Рыкин нарисовался во всей своей выходной красе: дорогой коверкотовый пыльник, открывающий на груди мысок тельняшки,

хромачи, кепочка-восьмиклинка. Следом тяжело просеменила раскрасневшаяся сдобная Нюрка с крошечным Гришкой на руках.

— Здорово, мамаша! — сипловато приветствовал Рыкин бабушку Анфису, не обращая внимания на батьку Василия. — Ну, чего ты, якорь-якорек, скуксилась как неродная?

— Мамынька! — Бросилась вперед Нюрка. — Прости ты меня непутевую, и Гришуню тоже...

— Ну ладно, якорь-якорек, не пыли, — обрезал ее Рыкин. — Показывай, мамаша, где твоё барахлишко.

— Пойдем домой, мамынька! — снова влезла Нюрка и все-таки всучила старухе маленького Рыкина. — Ведь кровь твоя, помоги на ноги поставить!

— Твоя Нюрка, якорь-якорек, теперь большим человеком будет, — благодушно пояснил большой Рыкин бабушке Анфисе, — к нам ее берут, экспедитором. А ты с пацаном посидишь... Вот и лады!

Захныкавший было малютка залепетал, забабакал, затеребил цепенными пальчиками бабкины щеки, и старуха прослезилась, а потом, решительно поднявшись с крылечка, поклонилась батьке Василию.

— Прости и ты меня, непутевую!

Старик сидел истуканом, видно, ничего толком не осознавая. Зато прибежавшая с улицы Зинка все поняла и мигом слетала за матерью к соседям.

— Ой! Бабыньку нашу забирают!..

Примчавшаяся тетка Раиса обхватила старуху:

— Не пуцу, не пуцу!..

— Ну, ты, якорь-якорек, осторожней на поворотах, — нехорошо улыбаясь, шлепнул ее по руке Гришка. — Не нанятая на твоём огороде мантулить. Газуй, газуй, мамаша, — подтолкнул он к выходу бабушку Анфису. — Эх, машинешка моя запсиховала!..

— Бандит! Тюремщик! — отступив к крыльцу, хлопотала тетка Раиса. — Как тебя, змёя, только на машине держат! Вот погоди, Алексей придет со сменой!..

— Видал я твоего Алексея в белых тапочках!.. — весело откликнулся Гришка и на

прощание помахал одновременно ногой в хромаче и кепочкой-восьмиклинкой.

Батька Василий долго ждал бабушку Анфису, а когда понял, что она ушла насовсем, стал дряхлеть не по дням, а по часам.

— Не жалец больше наш батька, не жалец,— скорбно припокивала языком тетка Раиса. А дядька Алексей бранил ее и за выдумку с женитьбой, и за то, что не могла найти бездетную, вроде бабушки Прасковьи, старуху.

Батька Василий по-прежнему пытался что-то мастерить, но только рвал кожу на руках и уже не присыпал ранки сухой землицей, как бывало прежде. Кровь загустевала медленно, и к пятнам на его портках, последний раз стиранных бабушкой Анфисой, прибавлялись новые, когда он, рассеянно присев на чурбачок, перебирал воздух расплюснутыми на концах пальцами и о чем-то рассуждал сам с собой. Здесь, возле чурбачка, его однажды и нашли мертвым.

А через несколько дней тетку Раису тихонько окликнула с улицы бабушка Анфиса.

— Чего тебе?— недружелюбно спросила ее та.

— Повиниться пришла, Раизонька,— неуверенно обнажила два своих веселых зуба старушка,— экспедиторша-то наша проштрафилась, ее и вытурили с орсу. Гришка, известно, ее прибил, а меня прогнал: не нужна больше нянька... Может, назад примите?.. Батька-то где?

— Как где батька, как где батька?!— отшатнулась ошарашенная тетка Раиса.— А-а...

Вы ведь, считай, на другом конце живете... Помер наш батька, помер, помер...

Два веселых зуба спрятались за губами, а потом внутрь медленно вобрались и губы; бабушка Анфиса молча покивала головой и, повернувшись, зашаркала ногами прочь.

— Куда ты, куда ты?!— настигла бабушку Анфису шустрая тетка Раиса.

Старуха совершенно безвольно дала увести себя в избу, неловко вытирая пятой окостенелой ладони моросливые слезинки. Под этот стылый плач заскулила и тетка Раиса.

— Оставайся у нас, баушка,— хлюпала она носом,— ты и Алексею ндрависься, и Зинке... И батька тебя уж так любил, уж так любил!.. А с бандюгой тебе едино не ужиться.

Наконец всхлинула и бабушка Анфиса.

— Спасибо тебе, добрая душа... О том бы я и хотела просить. А в обузу не буду... Да и не заживусь...

Так бы, наверное, и обитала бабушка Анфиса до последнего часа почти в своем, когда-то для нее счастливом углу. Но скоро не стало ни пристройки, ни избы, ни самой улицы: подступила шахта, и дома пошли под снос, освободив место обвалам, а жители переехали в новые коммунальные здания. Дали двухкомнатную квартиру и семье дядьки Алексея—ни подсобного хозяйства, ни простора. И, как ни привыкли к бабушке Анфисе, все-таки распростились с ней.

Судиться с Нюркой бабушка Анфиса не захотела, лучше уж опять пойти в прислуги. Так и несла свой крест. А когда совсем ослабела, выпросилась в дом престарелых. С тех пор о ней больше никто и не слышал.





ИЗ ВОЕННОЙ ТЕТРАДИ

* * *

Редкий дом обошла похоронка—
Скорбный листик бумаги простой...
Мать Россия, родная сторонка
Стала в годы войны сиротой...
Приглядишься-ка вот к этому снимку.
И кого здесь узнаешь, ответь.
...Дядя Глеб с тетей Клавой в обнимку!
Лишь за месяц, как ей овдоветь.

* * *

Эвакуаций спешных суетня,
Внезапные мгновенные бомбежки...
С далекого, но памятного дня
Разъединились родичей дорожки.
Кто возле моря, кто в краях степных.
Не навсегда ли кровная утрата?
Идут доньне поиски родных:
«Ищу сестру», «Ищу отца и брата».

* * *

Фронтовик со Знаком ветерана
К Вечному огню идет, сутул.
Вечером, и днем, и утром рано
Видит здесь почетный караул.

Галстуки горят под стать рябинам
Там, где сквера солнечный уют.
Знает ли солдат: его сединам
Дети тоже почесть отдают?

* * *

На побывку прибыл юный воин.
Китель так идет ему: орел!
Вежлив, сдержан, по-солдатски строен.
В армии все это приобрел.
Аккуратно курит сигарету...
Сматривает мать—мужчина из мужчин.
И с чего-то ей в минуту эту
Сладостно и горько без причин.

* * *

Прижал нас к полю свист сквозной—
Бил метко фриц из перелеска...
Вдруг вещмешок мой за спиной
Назад рвануло чем-то резко...
Не видеть мне бы синевы,
Чуть-чуть пониже пуля брызги—
На полвершка от головы,
Всего на полвершка от жизни.

* * *

Как жаль: из строя вывело раненье
До Дня Победы... С чем его сравню?
Живя в тылу, едва ль найдешь сравненье
Тому всемирно праздничному дню...
Он был такой огромный, точно море,
Лучами озаренное насквозь,
В котором наше счастье, наше горе
Слезам, словно волнам, слились...

* * *

Кто бы ни был ты племенем, родом,
А в огне на прошедшей войне
Вместе с русским великим народом
Был ты крепче, сильнее вдвойне.
С ним любой на дороге ли ровной,
На путях ли тернистых не мал.
В честь Победы не даром Верховный
Тост за русский народ поднимал.

ПОЛОСА НЕУДАЧ

РАССКАЗ



Ночью Максимов проснулся неожиданно. Синеватый сумрак и тишина. Окно матово озарилось всполохами долгой молнии от первого троллейбуса, торопливо убегавшего на линию. И Иван Андреевич ощутил неясную тоску. С тем легким чувством настороженности, какое вызывает одинокий минорный звук лопнувшей струны, Максимов вслушивался в себя. Непокорно было на сердце, непонятно почему.

Ночная тишина распадалась на звуки. Потрескивала половица где-то наверху. Чуть слышно струилась вода по трубам. Дом сонно ворочался, как великан, словно ночь объединила людской муравейник в одно большое существо. Далеким самолетом тарахтел холодильник на кухне. Громко и натужно отбивал секунды будильник. Слегка постанывали и гудели, как провода в степи, пружины панцирной сетки кровати. Жена спала, и ее ровное глубокое дыхание лишь угадывалось.

Спрессованно, одним воспоминанием, перед Максимовым мелькнули события вчерашнего дня. В них он искал причины своей тревоги.

Неудачи преследовали его. Шла в его жизни такая полоса. Все получалось не так, как он хотел. Все, что он делал с добрыми намерениями.

Хотя... Вчера утром и автобус ждать не пришлось, и народу было мало, так что Иван Андреевич даже сидел; а главное — он любил приезжать так рано, и станки как будто ждали его, бригадира слесарей, как будто радовались его появлению, доверчивые, тихие и смирные, как больные на обходе доктора. До смены оставалось еще с полчаса, и Максимов, не переодеваясь, прошел по цеху. Гулкое эхо подхватывало звук шагов, обычно неслышных в рабочем шуме.

Максимов отметил про себя, что пора провести плановый осмотр токарных станков в первом ряду. Да взяться за ремонт бедолаги — разбитого ДИПа из подшефного совхоза; «догнать и перегнать» называли такие станки. Руки до него никак не доходили.

— А эт что? — Иван Андреевич остановился около наждака. Защитный экран был снят, как кожанка с семечка. И благодушия у Максимова — как не бывало! Это, видать, был первый сигнал начавшейся проклятой полосы невезения.

— Попробуй дело делать! — обиделся Иван Андреевич. — Когда заниматься ремонтом? Когда? Чин чинарем установили экран. И дня не простоял! Экран, видишь, мешает при заточке резцов — фу-ты, ну-ты!

Уж не раз слесари по требованию инженера по технике безопасности Вениамина Игнатьевича Глухова устанавливали экран, заранее зная: пустая затея.

Иван Андреевич постоял, обдумывая, что сказать начальнику цеха Алеиникову, накаляя себя от этих мыслей, силянул и, круто повернувшись, пошел в раздевалку.

Цех оживал. Синими вспышками засверкала азбука Морзе электросварки. Первые нестройные стук, перезвон металла, гул включенного токарного станка не заглушали еще людских голосов.

Токарь, что один из первых начал работу, недавно устроился на завод. Был он красивым парнем, видным и высоким. На него приятно было посмотреть. Зубицкий, кажется, фамилия. Иван Андреевич приостановился и, приглядевшись, недовольно крикнул: «Во дает!» Токарь вставил сверло на восемьдесят миллиметров в заднюю бабку и сверлил болванку на механической подаче. Максимов, криво усмехаясь, смотрел на парня: «Стара-а-ательный!»

Он почти физически ощущал, как трудно станку.

— Что ты делаешь? — спросил Иван Андреевич, подразумевая: поставь сверло на пятьдесят.

— А что? — бросил тот через плечо. — А-а... Да тянет же.

— Перестанет тянуть!

Зубицкий и ухом не повел.

— Ну как знаешь... Дело хозяйское, — проворчал Максимов, негодуя, что токарь спешит — торопится коробку подач сломать. Да кабы один этот Зубицкий станки мордовал, было б проще. В цехе треть станочников — такие вот криворукие торопыги. Гробят станки без жалости.

К своему шкафику Максимов прошел, кивая головой, наподобие китайского болванчика, в ответ на приветствия товарищей. Сосредоточенно сопя, одевался в рабочую робу, пропахшую запахами солидола, керосина и металлической пыли.

— Андреич не в духе, — сообщил Александр Близняк ученику Мишке Юшкову.

— Да он у вас всегда такой, — отозвался Мишка.

— Не скажи! Ты просто его не знаешь... — Последние слова прозвучали глухо, Александр натягивал через голову свитер. Близняк был из породы веселых и непоседливых людей, к которым тянутся другие, послабже характером. Мишка сразу попал под его опеку и оказался в самой гуще дел заводской комсомолки. Саша Близняк был не только комсоргом бригады, но и членом «Комсомольского прожектора» завода. В нем рубаха-парень с белозубой широкой улыбкой уживался с задирой, которому не лень было совать нос, куда его не просили.

— Думаешь, если Андреич не указывает, не растолковывает, что делать, так — бйрюк? — продолжал Александр, улыбнувшись удачно примененному слову: в техникуме они как раз Тургенева «проходили». — Наш бригадир пару слов скажет — будто речь произнес. Мужик он отличный! На все сто!.. Э-э, глянь-ка на Горелова. Опух человек. Добьется он, в «прожектор» попадет... Слышь, Вить? — окликнул он молодого хмурого мужчину. — Ты, видать, вчера хорошо повеселился? Кончал бы пьянку! Из тебя рабочийчек сегодня...

— А подь ты, закатись в доску! — огрызнулся Горелов. — Без тебя тошно.

— Не прекратишь пьянку, будет тошнее. Уж это я гарантирую! — сказал Александр.

Горелов промолчал. Он давно убедился на опыте, что всегда лучше промолчать: слово за слово цепляется, как зубья шестеренки. Опыт на этот счет у Горелова был богатый. Жил он в одной квартире с родителями жены. Рассказывали, что теща — занозистая и вредная бабища и что у Горелова нелады в семье. Дескать, поэтому он стал попивать. Сам Виктор мог бы подтвердить слухи, но с оговоркой, что до поры до времени держался, пока надеялся на получение квартиры. Когда же решил, что не видать ему ордера, как своих ушей, то махнул на все рукой. Не пьешь или пьешь, какая разница — все одно: плохой.

Иван Андреевич заметил помятый вид Горелова. Поговорить с ним решил в обеденный перерыв. Мелькнула мысль, что разговор нагрянул давным-давно, да все что-то мешало начать его.

В цехе у слесарей было свое место. Возле окна стоял металлический стол, вдоль него — черная, затертая до блеска, деревянная лавка. С одной стороны «уголка» была стена, с другой — шкафы с инструментом, верстаки. Кто называл это место курилкой, кто — кандейкой, кто никак не называл, а просто говорил: «Пойдем, посидим».

В кандейке Максимов придвинул журнал работ, перелистал. Дежурный слесарь сделал запись о поломке во вторую смену вертикально-фрезерного станка. План на день потерял четкость.

«Алейников скажет, что — в первую очередь», — подумал Иван Андреевич, набрал номер телефона начальника цеха. Трубка отозвалась длинными ноющими гудками, и Максимов отправился в цех.

— Андреич, легок на помине, — пожимая руку, сказал Антон Антонович Алейников. — Вертикально-фрезерный сломался, знаешь?

— Кто угробил? — буркнул Максимов.

— Да новичок... Заготовка попала между столом и станиной. А парнишка и растерялся.

— Вот-вот, допускаете до техники... черт знает кого... Экран с наждака опять сняли? Вот Глухов идет про экран говорить.

— Максимов! Найди управу! На своих слесарей! — с ходу прокричал инженер по технике безопасности. Очень занятый человек, Глухов, не ходил — бежал. Говорил отрывисто, громко, съедая окончания слов.

— Видишь? — усмехнувшись, сказал начальнику цеха Максимов.

— Да не горячись, Вениамин Игнатьевич. Устанавливали они. Опять мои ребята сняли, — сказал Алейников.

Глухов было побежал по пролету дальше, но вернулся.

— Инструктаж! Не забудьте провести.

— Не человек, метеор, — заметил Алейников, глядя ему вслед. — Значит, так... Вертикально-фрезерный. Сегодня этим займитесь. Ну, и те, что в работе у тебя. Три, да? Три токарных станка... Кстати, завтра собрание общезаводское. Извести своих.

Иван Андреевич определил каждому слесарю участок работ, а сам отправился к вертикально-фрезерному.

Максимов всегда словно по наитию обнаруживал дефект. Вначале станок стоял перед ним чужой и непонятный. Его надо было узнать. Иван Андреевич присматривался к нему, включая рукоятки, проворачивал вручную. Проверял станок на холостом ходу. Склонив голову, бормотал что-то, едва шевеля губами. Вслушивался в шум: не гремит ли станок? Шестерни поизносились? А может, подшипники ослабли?

Потом как-то незаметно тупая его рассеянность сменялась рабочим спокойствием, и он открывал коробку скоростей, менял шестерню или вилку переключения, либо что другое, короче говоря, «выбирал слабины». Проверял станок на ходу. А потом непременно протирал ветошкой. Не всякий слесарь станет так возиться. Исправил поломку с грехом пополам, да и ладно.

Основательным человеком был Максимов, и токари знали, кого звать.

Разбирая предохранительную муфту, которая полетела при подаче — заготовка-то оказалась между столом и станиной и не давала ходу, — Максимов чертыхался и злился. Эта поломка — из тех, что портят кровь любому слесарю.

...Вспоминая этот на диво бестолковый день, Иван Андреевич искрутился в постели. Он подумал, что вчера работал совсем без увлечения. А обычно у него время уходило мгновением, и Максимов не мог оторваться от дела хоть ненадолго, даже на перекур, хоть и заядлым курильщиком был. Для этого счастливого состояния нужна незамутненность души. Особое рабочее настроение.

Но тут — полоса неудач! — все не ладилось. В довершение всех бед Горелов умудрился опохмелиться в обеденный перерыв, и Максимов из-за него поругался с Александром Блиznakом.

Сидя в кандейке, Виктор пьяно гудел:

— Уволюсь я, Максим! Квартиры дают всяким прихлебателям. Я! Я первый на очереди! А мне почему не дают? Почему, я спрашиваю?

— Пьешь, вот и не дают, — сказал Максимов. — Вот ты...

— Э-э-э, нет! погоди,— прервал его Горелов.— Нет квартиры, потому что пью, а пью потому, что нет квартиры... Хите-о-ор! Я тебе скажу, почему. Нет денег. Нет лохматой лапы или... ха-ха-ха!.. шишки-папы... Я на Север уеду. Решил! Уволюсь и уеду. По-нял?

— Слушай, иди! Иди, проспись,— сказал Иван Андреевич.— Потом отработаешь смену. Тогда не запишу прогул. Давай-давай, дуй отсюда!

В разговор вмешался Близняк:

— Как это — иди? Как — иди? Почему кто-то должен за него работать? Иван Андреевич, по какому праву вы его покрываете? Кто за него должен вкалывать?.. Это... вообще! Комсомолец, называется! «Молнию» выпустим! На бюро вызовем! Прочистим мозги, прочистим! Квартиру ему еще...— Александр был вне себя от возмущения:— И вы его покрываете? Как же с дисциплиной? Позволь пьянки, у нас не бригада... у нас забегаловка будет. Извините, но это — не... не это... не стиль руководства!

Иван Андреевич тогда только рукой махнул: что объяснять?

«Денек был ого-го! Сине-море!..

Полоса такая, и потому ничего не попишешь. А вечером?»— Иван Андреевич крикнул, прочищая горло, нахмурился, припоминающая, как он, идиот этакий, поднял с пола гривенник, протянул парню:

— Уронил...

А тот нет чтобы взять... Одетый с иголочки, парень глянул на Максимова заморской птицей и небрежно так бросил:

— В милостыне не нуждаюсь.

С ненавистью, вновь нахлынувшей, представил Максимов сытое лицо парня, его наглые глаза навьют и себя самого, когда растерявшись, стал совать белую монетку в руки этого перекормыша. А тот покровительственно повторил:

— Я же сказал! Не побираюсь,— презрительно усмехнулся и демонстративно повернулся всем телом к такой же, как он, пышно одетой девице.

Иван Андреевич весь затрясся. Он не помнил себя. Он и ничего не мог понять. Он точ-

но видел, как гривенник выпал из кошелька, слышал звон металла об пол. Еще секунда, и — он...

Он бы не сдержался.

Максимов повернулся и пошел к выходу из магазина, как бы со стороны увидев себя, жалкого, ничтожного, в растоптанных пимах и выдавшем виды пальто, с тощей авоськой в руке. В другой он вертел гривенник. Выбросить монету не позволяло воспитанное сызмальства уважение к деньгам. Максимов подумал, что сам он не смог бы так беспечно сорить деньгами и что у этого, видно, они слишком легкие. Да что там! Разве в этом дело! Тон, взгляд — вот от чего коржило все внутри.

«И что я беру в голову чепуху? Почему — обидно-то? Проще жить надо... То ли я старый? — в недоумении размышлял Иван Андреевич и успокаивал себя: — Что ж... Не взыл. Ну и ладно...»

Он по какой-то ассоциации вспомнил Зубицкого, ведь предупреждал человека: не угробляй станок. Куда там! Плевать он хотел на предупреждение. А в конце смены: ремонтируй, Максимов! Коробка подач полетела.

«И что я, в самом деле? Все беру во внимание? И что уж случилось? С чего злился?.. Просто парень попался под дурное настроение. В полосе неудач. А то, что Зубицкий станок надорвал, впервые такое, что ли? Ну экран сняли... А Глухов-то сразу: когда управа на слесарей найдется? Максимов ему виноват... Пустая работа получается. Шей да пори... Нет порядка. Нет заботы о станках. А выходит — я кругом виноват».

Ивану Андреевичу давно уже не лежалось в постели. Он встал, напилс холодной воды из крана, закурил, поглядывая на освещенный фонарем угол окна, которое январский мороз затянул плотной тканью инея, разноцветно сверкавшего в пятне света.

«Да, виноват — так получается. Слесарей распустил. Станки простаивают.

Но — Витька Горелов! Да он же мастер! Станок чувствует. И терпеливый, безотказный. Пожалуй, любого слесаря за пояс заткнет. Без халтуры работает... Лет пять он на очереди. Уж как радовался: первый... Первый!

Второй год, и все — первый. Непорядок это!.. На работе, оно так, пить нельзя. А с другой стороны глянешь — понять человека можно.

Мне бы Близняку объяснить, растолковать, а я — как немой. Сашка — парень горячий, вот и обиделся на меня.

Куда ни кинь, везде моя вина».

Вновь синим вспыхнула молния, занял спешащий на маршрут одинокий троллейбус. Иван Андреевич потянулся за папиросой, размял ее в пальцах, постучал мундштуком о край стола и приостановился, медля зажигать спичку. До того тошно стало, такая тоска навалилась — не продохнуть. Тут-то и мелькнула сумасшедшая мысль: этот день — последний в жизни!

«Фу, чертовщина! — отмахнулся он. — Такого быть не может! С чего? Чуть! Как это — последний? Я здоров. Нигде не болит, не колет. Здоров как бык. Будет самый заурядный день, каких без счета было. И вообще... Никто никогда не знает... Не знает никогда, какой из дней — последний в жизни».

Все-таки ему стало жутко до мурашек. В груди опустело, словно сердце потеряло опору и, замирая, упало. Иван Андреевич сглотнул шероховатый комоч, подобравшийся к горлу.

«Чертовщина и есть! А может? Бывают предчувствия... У меня — впервые. Страшно. Нервы, что ли?»

Он пошевелил рукой. Она ворохнулась одновременно с едва осознанным желанием, чтобы рука ожила, и ее чуткость, послушание поразили Ивана Андреевича, как чудо. Сорок девять лет прослужившие исправно ноги, руки, туловище — все свое, привычное, показалось чем-то ненадежным, временным и оттого — милым. Максимов ощутил себя от желтых зароговевших ногтей пальцев ног до редящих волос на макушке. Страх пронзил его, панический страх, и, поддаваясь ему, Максимов всхлипнул от внезапной жалости и любви к себе. Потерянно он сокрушался и тосковал, словно маленький ребенок в чужом доме.

Случалось и прежде Максиму подумывать о смерти, но как-то абстрактно; потому его потрясла категоричность: последний день, и точка!

Что-то странно схожее со вчерашним происшествием в магазине уловил Максимов и опаматовался: «Ну-ка, Ваня! Не распускайся! Все там будем... И потом — померещилось, а ты и разнюнился!»

Инстинктивно он потянулся к теплу, словно ища защиты. Он обнял жену, страстно и нежно стал ласкать уже увядающее, такое знакомое и родное тело.

— Нина, ты это... Нин? — задыхаясь, бормотал он молодые, полузабытые, сбивчивые слова. Жена проснулась и изумленно и благодарно откликнулась на ласку.

Жадно и самозабвенно, в последний раз — как он думал, в последний раз он любил женщину, и это было хорошо. И больно.

А потом он задремал, но во сне переплелись тревога, и вчерашние события, и путанные ночные мысли. Максимов снова стоял рядом с обреченным станком, но угроблял его не Зубицкий, а тот перекормыш. С негодованием смотрел Иван Андреевич в его сытое лицо и говорил много, гневно. Говорил те единственно нужные слова, которые меняют ход событий. И побеждал в словесном поединке. Во сне...

А потом зазвонил-затрезвонил будильник, и Иван Андреевич, как всегда, пил чай мелкими глоточками, отдуваясь и поглядывая на часы. Но уже на выходе помедлил, топчась на месте, и, когда жена подошла с вопросом: «Забыл что?» — он хмыкнул: — Да попрощаться... — и неуклюже притянул ее к себе, поцеловал.

— Чтой-то с тобой, Вань? — удивилась она, с недоуменной и радостной надеждой подумала, что у них, наверно, начинается вторая молодость, подумала, но не сказала этого, только похорошела от неожиданного внимания и как будто сбросила десяток лет, смуглилась и зарделась.

— Ну, ладно, пошел я, — сказал Максимов. Растроганный и задумчивый, он спускался по лестнице.

«Досталось ей... Дом, работа, дети... — думал он. — А как была хороша! Да и сейчас... Пригляделся я, что ли? Давненько не обращал внимания».

Мысль, навязчивая, непонятная, взбудоражившая его ночью, отодвинулась и, потеряв остроту новизны, уменьшилась, но саднила занозой. Максимов шел к остановке и обостренно, словно впервые, подмечал все вокруг.

Белесый туман скрадывал очертания домов, силуэты людей, словно набросил марлевый полог, и сквозь него тускло прорывались лучи фонарей. Желтыми глазами подслеповато всматривались в смутную дорогу машины.

Неправдоподобно красиво мороз украсил деревья. Толстый махровый слой инея лежал на ветвях, и сами они, деревья, стали фантастическими. Белые густые их кроны напоминали яблони в цвету. «Странно,— подумал Максимов,— где глаза мои были? Глядел и— не видел... раньше-то. Как крот жил».

Мороз обжигал лицо. Парок изо рта мгновенно застывал и куржаком оседал на ресницы, шарф, воротник. Прикрывая глаза веками от холода, который аж выбивал слезу, Иван Андреевич мерз на остановке рядом со многими людьми, нестройно постукивающими ногами. В туманном полумраке все сбились в кучу, как будто приближение друг к другу спасало от мороза. Но вот вся масса народа дрогнула, растеклась темными языками. Каждый норовил угадать, где остановится автобус, угодить поближе к дверям.

Иван Андреевич замешкался и потому оказался в хвосте очереди. Людей скопилось достаточно, и он рисковал не сесть в автобусовсе. Приседая, покряхтывая, он с усилием вбивал тех, что были впереди, в салон, вталкивал кончики пимов на скользкие ступеньки, прижимаясь к какой-то женщине в шубе и цепляясь за поручень и железку. А кто-то смеялся и выкрикивал:

— Ногу отпустите! Кто за ногу держит?

Машина сдвинулась с места, шевельнулся народ, даванул на Максимова. Он напрягся из последних сил и похолодел: скользили валенки, ноги теряли опору.

«Руки не выдержат! Сорвусь... Вот оно? Конец?... Ух ты, черт!»

Он ошалело хэкнул, стремясь утвердить тело, и лишь когда со скрежетом и пыхом загнулись за спиной створки двери, он вздохнул с облегчением, ослабил напряжение рук

и уткнулся носом в заиндевший мех шубы впереди стоящей женщины. В ногах была противная слабость.

«Запросто мог угодить под колесо,— подумал он.— На волосок был...»

«Икарус» поматывало, что-то в нем пофыркивало и поскрипывало, и пассажиры пошатывались в тесноте, бездумно сосредоточенные в пустом, ничем не занятом времени. Кое-кто выходил, и Ивану Андреевичу пришлось соскакивать с подножки и вновь завоевывать себе место. Потом он пробился в середину салона и тоже, как все, погрузился в ожидание конца дороги.

...В раздевалке Иван Андреевич перемолвился несколькими словами со слесарями.

Близняк, хмуро взглянув, кивнул головой, и Максимов сказал:

— Саша, ты, того, извиняй. Ты, конечно, прав. Вчера как-то не получилось... Понимаешь? Горелов, в общем-то ничего, то есть — стоящий парень. Проверить бы его.

— Да что там! — смущаясь, воскликнул Близняк. — Я и сам, Иван Андреевич, я и сам понимаю.

В кандейке никого не было, Иван Андреевич тяжело сел, придвинул журнал работ.

К столу подошел Горелов и сбивчиво извинился за свое вчерашнее поведение. Максимов так глубоко задумался, что от неожиданности вздрогнул. А затем тоже путано сказал Горелову, мол, пора образумиться...

Виктор торопливо ушел. Следом за ним отправился и бригадир.

Огромный, как ангар, с высокими окнами, когда-то светлый, а теперь закопченный цех показался Максиму неуютным, бестолково спланированным. Ему подумалось, что в корпусе у инструментальщиков — в простенках цветы, выложенный из булыжника бассейн с рыбками и звонкой струйкой фонтана. И неожиданно красноречиво он стал втолковывать свою мысль Алейникову, заглядывая в его глаза с красными прожилками на желтоватых белках. У Антона Антоновича брови полезли вверх, собирая лоб в редкие, четкие морщины.

— Что-что? — переспросил он. — Какой бассейн?

— Я говорю, в корпусе у инструментальщиков бассейн. Что? Мы не могли бы? Цветы у станков, понимаешь?

— Знаешь, я ничего не пойму, — сказал Алейников. — Да ты потом об этом...

Но Иван Андреевич разошелся и убеждал его:

— Что? Аквариумы только дома? Приятно было бы всем. А сварщикам место отгородить. Вот здесь, — размахивая руками, объяснял он, — прямо по заказу... эт самое, место для них.

Антон Антонович пристально вглядывался в бригадира и, привычно морщась серым лицом, пожал плечами, дескать, с чего это человека на лирику потянуло:

— Ладно, подумаем... Вы фрезерный сегодня закончите?

— Должны. Кто экран срывает?

— Да ты не сердись! Виноватого найдем, накажем. Мне самому — во как! — надоела возня вокруг экрана.

— Смотри! Я до главного дойду.

— Кстати, он вчера спрашивал, что со станком из подшефного совхоза, — заметил Алейников.

— Делаем, — сказал Иван Андреевич с раздражением.

Всю свою сознательную жизнь Максимов работал с металлом, у станков, и, казалось, у механизмов позаимствовал основательность, молчаливость, спокойствие. Суетливость настолько была чужда ему, что он попросту терялся перед каким-нибудь торопыгой. А люди что-то стали больше мельтешить, и в их разговорах мелькали красивые слова: «Век спешки! Напряженный ритм жизни!» Максиму казалось, что они вроде как прикрывались фиговыми листочками слов, чтобы скрыть свою бездельную суету.

Ивану Андреевичу, чтобы ответить на вопрос, требовалось время. Он словно отыскивал не спеша ящичек, в котором лежало нужное слово. Поиск его иногда затягивался, и собеседник терял терпение и отступался от Максимова, который не мог этого не замечать и замыкался.

А сейчас, после сумбурной ночи, ему хотелось поговорить, поделиться мыслями. Он был растерян. Если обычно он не задумывался, как жить, каков он сам, то теперь — задумался. Поговорить бы с умным человеком. С Антоном Антонычем, к примеру. Но замороченный Алейников уперся как бык в свое, твердит: «План... Станок...» Дальше носа не видит...

Потоптавшись на месте, Максимов позвал ученика и пошел в глубь цеха, к ДИПу.

Мишка Юшков засыпал его вопросами:

— Стоит ли этот станок ремонтировать? Он уж устарел! Правда, невыгодно такую рухлядь чинить? Да там половины узлов нет, наверно? И промышленность запчасти давно не выпускает, а?

Ученик еще не знал повадки бригадира и немало удивлялся, почему на все вопросы Иван Андреевич не отвечал и почему ходил вокруг станка и шептал что-то, курил. А потом Максимов сказал:

— Слушай сюда. Начинай разбирать суппорт... Возьми ключ. Помнишь, ты с Сашкой делал станок? Покумекай. Попытайся сам сделать.

Время от времени Максимов подсказывал, что делать дальше, или брал в руки инструмент, и тогда Юшков пританцовывал за его плечом. Оборачиваясь, Иван Андреевич заглядывал в глаза Мишке, нет ли у того пустоты во взгляде. Мишка сиял голубоглазо, моргал мохнатыми ресницами, ворошил замасленной пятерней волосы, забыв в увлечении обо всем на свете, и с готовностью выполнял, что требовалось. Легче становилось на сердце у Ивана Андреевича, чуял: будет рабочим человеком. Должен быть.

— Ну, молодец? Перекур, что ли? — сказал он спустя часа полтора. — Вот ты насчет запчастей... Выпускают их. А мы не такие богатые, чтоб добрый станок выбрасывать. Послужит он еще... Эт самое, отец-мать есть?

— Мать, — сказал Мишка, исподлобья поглядывая на бригадира.

— Вот это... нормально, помощника вырастила. А на заводе тебе как?

— Ничего, — сказал Мишка и, постепенно оттаивая, разговорился: — Мы с Сашей в рейд пойдем. Уже договорились. По экономии. Са-

ша говорит, наш завод скоро будет расширяться. Восемь миллионов план сделают.

Раньше Максимов думал: ученик да ученик, а заговорил с ним — и увидел его: «Толковый парнишка, ухватистый. Что бы мне время ему уделить? Потолковать да поучить уму-разуму? Так и живем, сине-море, живем-торопимся».

Иван Андреевич потрепал Мишку по плечу:

— Давай, что ли, суппорт собирать?

Незадолго до обеда по цеху пробежал Глухов. Максиму он сказал:

— Экран есть. Порядок!

И улыбнулся.

Полоса неудач... Да бывает ли она! И раз-ве в ней, в полосе неудач, дело? Максимов переживал, не зная толком отчего. В конце концов он понял, что его мучило. Неудовлетворенность. Работа не приносила радости. В ней не было четкости и системы. Бесцельность труда унижала в Максимове рабочего. В нем крепло недовольство собой.

Этого нельзя было терпеть дольше. Надо было что-то предпринять. Как-то перестроить жизнь. Доказать, что и он, Максимов, и такие, как он, и общее их дело — достойны уважения.

Кому доказать? Перекормышу? Или — себе? И — каким же образом?

В этом мучительном состоянии выбора Максимов сидел на собрании. Проходило оно в красном уголке завода. Подводились итоги за год, был прочитан доклад обычного итогового собрания. Но у Максимова он вызвал беспокойство.

«Что мы-то? — думал он. — Сидим, слушаем... А хоть бы слово толковое о наших нуждах... Цитаты и цифры... Сказать нечего, что ли?»

Начались прения, и он почти против воли поднял руку.

— Слово — бригадиру слесарей Максимов, — сказал председатель собрания.

Иван Андреевич вышел к трибуне и — растерялся: слишком много, так показалось ему, было людей и все они смотрели на него.

Максиму было о чем рассказать. О том, как Зубицкий загубил станок, но это событие не стало ЧП. Обыденка. А почему? В чем причина? И еще — мечтой кажется просмотр станков. Нет времени, текучка заедает; а надо бы глядеть вперед... Максимов хотел бы рассказать, каким он увидел сегодня свой цех. И о том, что Витька Горелов — хороший слесарь. Нужно бы ему дать квартиру, а то пропадает парень. И еще — о многом...

Они, слова эти, глыбами ворочались в сознании, теснились и не давали ходу друг другу.

— Товарищи! — сказал Максимов после значительной паузы. — Так ведь... — кашлянул, — подумать если? Ну, понимаете?.. Себя не уважаем!..

Он снова откашлялся, потоптался у трибуны, махнул рукой: «Эх!» — и побагровевший, взъерошенный, с испариной на лбу и потупленными глазами спустился в зал, сел на первое попавшееся место.

Молчание прервал чей-то робкий хлопок, а потом все враз зашумели, и кто-то гулко хлопал твердыми ладонями, и кто-то переговаривался, и кто-то смеялся.

Наверно, только к концу собрания Максимов мало-мальски пришел в себя: такая полоса неудачная, ничто не получается, как задумашь. «Хотел, как лучше... И ничего не сказал! — тоскливо думал Максимов. — Не умею говорить, так сидел бы. А то вылез, как путный: то-ва-а-арищи! До печенок пронял, устыдил всех... Ну и дур-р-рак же!»

Когда все устремились к выходу, Максимов придержал шаг, боясь насмешек, но никто ему ничего не говорил и никак его не подначивал.

Максиму стало легче, и он вздохнул глубоко, как бы расставаясь с тревогой и тоской. Он еще не знал, что будет делать, что менять в своей жизни. Важнее было другое: он сознал ясно и четко, как жить надо.

Как в последний день.

ОСЕНЬ В ЖУРАВЛЯХ

Памяти поэта Игоря Киселева

1

Мы попали в эту осень,
Где ромашки полегли,
Где покинутые гнезда
С нежным запахом пера,
Потому ли, что деревню
Называют—Журавли,
Потому ли, что настала
Перелетная пора.

Мы обязаны капризу
Или выбору судьбы,
Что попали в эту осень
В первый и в последний раз...
Наши женщины уходят
По рябину, по грибы,
По лекарственные травы,
Исцеляющие нас.

Под осиной подосиновик
Подточен—не сорви!
Над кедровником кедровка
Прокричит издалека...
Наши женщины уходят
В поздний лес своей любви,
Где летают паутинки
И где ягода горька.

2

Нас безмолвно окликают
Птичьи контуры домов,
Будто стая приуслала
И присела на яру:

—Вы бежали в эту осень
От трамваев и дымов?
Ваш побег осудит Город,
Спохватившись поутру.

Вот он встал на горизонте
За излукою реки.
Там смятением и восторгом
Наполняли мы весну.
Чистые—в борах и душах—
Сохраняли родники.
И выращивали строки,
И несли свою вину...

...Счет вели земным утратам,
Сколько их—сойти с ума!
Мы бежали в эту осень
Как бегут березы прочь,
Будто знали о природе
Больше, чем она сама,
Потрясенные прозреньем
И бессильные помочь.

3

Перелетный, журавлиный,
Бередящий душу. клич.
На земле длиннее тени—
Меньше света, больше тьмы.
Мы попали в эту осень,
Чтобы истину постичь:
Знает мудрая природа
То, чего не знаем мы.

Терпеливая, позволит
Прочитать себя с азов.

В срок назначенный предъявит
Материнские права...

Мой товарищ обернулся
И пошел на этот зов,
Только молча расступились
И сомкнулись деревья.

Только крылья прошумели
Сквозь багряную листву.
Только легкий бег оленя
По кустам прошелестел.
Только женский крик разлуки—
Безутешное «Ау!»—
Укатился дальним эхом
За неведомый предел.

4

Журавлиный клин прощальный
Прорезает облака.
У тебя иное время—
Торопиться нет причин.

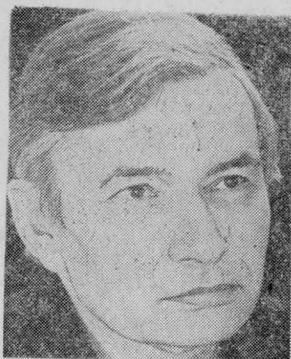
Подожди меня в долине,
У лесного родника.
Там докурим, домечтаем,
Допоем и домолчим.

Я приду с хорошей вестью:
Память о тебе светла.
Подожди меня у плеса,
У березовых костров...
Вот с долгами расплачусь я,
Переделаю дела.
Знаем мы—в стихотворенье
Не должно быть лишних стрóf.

...Пожелаем счастья близким,
Вспомним недругов незло
И пылающую осень,
И деревню Журавли...

Улетели наши птицы.

Ну, а все же—повезло
Дорогое молвить слово
От лица родной земли.



А ПОМНИТЕ...

РАССКАЗ

«Который же тут Егоршин дом?— подумал Киселев, ища глазами знакомый пятистенник.— Все тут иначе стало».

Рейсовый автобус скрылся за поворотом, и по-за обочиной, рассеиваясь, медленно оседала на поблекшую траву поднятая колесами седая пыль.

Когда он в последний раз был здесь, дом Егора стоял на краю, но за прошедшие десять лет улица дотянулась до проложенного мимо Ильинки тракта, высокие ели у свертка повырбили, и расстроившееся посветлевшее село вплотную придвинулось к шоссе.

Возле ближних домов никого не было. Киселев огляделся и пошагал по дощатому тротуару, проложенному вдоль разбитой тракторами деревенской улицы.

— Вот оне, Задворновы, живут,— показала попавшаяся навстречу черноглазая молодая в застиранном фермовском халате и литых резиновых сапогах. Полные руки ее лежали на покато коромысле с новенькими блестящими жестью ведрами.— Во-он в том голубом доме.

Из-за пристроенной веранды пятистенник показался Киселеву намного больше, чем когда он был тут в прошлый раз. Бревенчатые стены были теперь обшиты рейкой и окрашены такой же голубой краской, как веранда; там, где раньше стоял только дворик, по-

явились новые надворные постройки, под смотревшими на юг окошками густо цвели фиолетовые астры.

Застал он дома только бабушку Пелагею с правнуком.

— Ба-а, однако, Сергей Михалыч!— всхлопнула бабушка руками о пестренький фартук, разом напомнив Киселеву родную деревню.— Откель же ты взялся? Проходи в избу, проходи, разболокайся.

Она засуетилась обрадованная, растерянная, круглое доброе лицо ее за эти годы почти не изменилось, только сама сделалась вроде меньше ростом, ссохлась, ссутулилась и все говорила, говорила без умолку, будто некому было ей до того выговориться.

— С Минькой возжусь, никак без дела не бываю... Вот как забаву отец ему купил, дак он, блудня, колесико уже успел открутить,— жаловалась она не то Киселеву, не то сама себе, торопливо убирая со стола раскиданные игрушки.— Сколь у него этих машин разных, можно бы и не покупать эстолько... Ему же, варнаку, только разобрать да бросить. Третьего дни, покуда курам давать ходила, ручку у телевизера отвернул... Глаз да глаз за ним нужен. Мать допоздна на ферме, а Степку опять на каки-то курсы посылают. Этоть месяц жила у них, умаялась— сил

нет, к Егору воротилась, дак они сюды мне парнишечку привели — водись, старая...

Вытерев тряпичей стол, она устало присела на табуретку.

— Ты обожди, Сергей Михалыч. Егор вот ни вот придти должен, Зинаида с Генкой тоже, поди, скоро с Зырянского вернутся, часа два как уехали...

— Зачем? — спросил Киселев.

— В магазин, зачем боле? Они же мне не говорят ничо. — Бабка вздохнула. — Намедни опять новые занавески на окна привезли, куды уж ей с тряпками...

Пришел из совхозной мастерской Егор. Раздобревший, гладкий, если б не густая просесть в волосах, никогда бы не подумал, что перевалило ему за полста. Улыбнулся широко, увидев гостя:

— Здорово, Серега... Давненько не был. Я думал — кто из районного начальства заехал, Вальку, соседку, повстречал, говорит — чей-то приезжий, мол, к вам зашел... По службе сюда, али как? Поди, все по школьной части?

— В командировку, — смутился Киселев. — Завтра в школу схожу, да в Зырянском надо будет денек побыть. Я теперь почти не езжу, прошлым летом два месяца в больнице отлежал. Сердце барахлит — возраст, что ли...

— Идет времечко, иде-ет, — протянул Егор. — А у меня глянть-ко — брюхо растить начало, — с хрипотцой говорил он через несколько минут, старательно умываясь из рукомойника. — Курить бросил, сразу раздобрел.

Когда-то ребяташками они вместе играли на поляне возле колхозных амбаров, ловили волосняными петьельками дремлющих на мелководе щурят, были счастливы, когда дед Захар, гонявший на водопой лошадей, разрешал им проехаться верхом до речки и обратно...

— Идет времечко, Серега, идет, — повторил Егор. — Внуку вот уже полтора года... Такой крученный, яхни его, парнишечка.

— Я и дома твоего не узнал, — сказал Киселев. — Все иначе было.

— Малость подладил, — просиял Егор, довольный похвалой, и надел поверх майки поданную бабкой Пелагеей новую розовую рубашку. — Ребята пособили... Все сами, только

фундамент подвести калымщиков нанимал, четыре сотни уплатил, да кормил цельных две недели. Днями они в совхозе, вечерами сюда, поработают часа два и за стол, им куды торопиться? Водку, правда, не покупал, сразу был уговор, две бутылки с собой как-то принесли, сами же и сглотнули... Во какие деньги отдал, кормежка не в счет, а поглядел, как этот фундамент заливают, — ничего хитрого, теперь, коли придется, и сам смогу... Да на наш век хватит, Степка четвертый год в своем дому, вот разве Генку женим, ему строить. — Он пригладил ладонью мокрые жесткие волосы и повернулся к начавшей чистить картошку матери. — Вы, мама, насчет ужина побеспокойтесь, а я Сереге домашность покажу. Глядите, чтобы Минька к плите не лез. Пошли, Сергей.

— Банешку новую срубил, гараж поставил, — показывал он с крыльца. — Запрошлый год Степану «Урал» с коляской купили, а Генка с армии пришел — этому «Москвича»... Там под повестью погребешко под соленья, варенья выкопан. Тесом разжился — навес сделал, сетенки есть куда свешать. Заодно и поленицу под крышу склал, вишь у дворника дрова не такие, а эти светлые, со звоном... Шифера у строителей по дешевке раздобыл, крышу хочу перекрыть. Одно сделаешь, другое надо...

— Молодец, — говорил Киселев, глядя, как все по-хозяйски сделано и прибрано у Егора. — Хорошо живешь.

— Картошка неплохая была, полный подпол, да еще сто ведер на продажу ссыпали, — хвалился Егор. — Коровенку держу, ланского бычка колоть будем, двух боровьев каждый год выкармливаем. С концентратами в совхозе доступно. На месте и камень обрастает...

Показав хозяйство, Егор собрался в магазин, а Киселев присел на ступеньку крыльца покурить. На улице было хорошо, не хотелось в комнату. В прощальных лучах солнца пестрел за огородами поредевший осинник, пастух не спеша ехал верхом за отставшей хромой коровой, наносило запахами прошедшего стада, печным дымом, село дышало сытым покоем, какой ощущается поздней осенью, когда уже все прибрано к месту и осталось

только ждать зимы, которая не за горами. Вспомнилась родная деревня, вспомнилось, как трудно жили, непосильно работали, но пришло на память и далекое светлое — полянка у бревенчатых амбаров, речка под обрывом, вспомнил, как в детстве бегали с Егоршей на крутойр глядеть на медленно проплывавшие мимо деревни плоты, как, заслышав кукушку, считали, кому сколько жить...

Засветились в окнах огни, когда приехала на «Москвиче» Зинаида с младшим сыном. Как и Егор, она выглядела моложаво и казалась старшей сестрой невысокого, похотого на отца Геннадия, работавшего после армии заведующим здешним клубом. Когда сели ужинать, пришли две Евдокии, тоже бывшие землячки Киселева, переехавшие сюда из Светлянки. Обе в темных стеганых фуфайках, повязанные топорщащимися, словно крыши домов, беленькими платочками. Поздоровались поочередно с ним за руку и присели в сторонке на отодвинутые стулья, враз посерьезнев, положив на колени ладони. Он обратил внимание, как они постарели, и все же, здороваясь, не смог назвать их по имени-отчеству, остались они для него, как и в молодости, Дуней и Дусей.

Захмелев от рюмки водки, он ел и рассказывал, как не мог найти Егоршин дом. Ему казалось это забавным, но обе Евдокии смотрели без улыбки, серьезно, даже печально.

— А вы, Сергей Михалыч, как-то... похудели, — произнесла Дуня, когда он умолк.

«Постарел... постарел — хотела сказать, да пожалела», — подумал Киселев сникнув.

— Дочери, поди, уж большие? — спросила Дуся.

Голос у нее остался таким же резким, как много лет назад, только стала без переднего зуба пришепetyвать.

— Большие, — поспешно ответил Киселев. — Замужем обе.

— Это сколько же лет, как вы из Светлянки уехали?

— Двадцать...

Покачали головами:

— Да, да... И мы отсель уже шешнадцатый год. А там, в наших краях, бываете?

— Хочу весной к матери на могилку съездить...

— Заросли там могилки-то, — сказала Дуня, пришепetyвая.

— Знамо, заросли, — вздохнула Дуня. — Квартира у вас в городе большая?

— Трехкомнатная.

— Да, да...

Спросив еще о чем-то, они замолчали, и Киселев принялся торопливо вспоминать вслух какой-то случай из того прошлого, когда все они еще жили в одной деревне. Встречаясь с теми, кого не видел много лет, и ощущая, как начинает рваться нить разговора, он принимался говорить о давнем, тогда исчезала скованность, уже не надо было думать, о чем спросить, чтобы не затягивалось молчание, становилось легко и непринужденно. Вспоминал он обычно не тяжелое и грустное, а почему-то трогательное, светлое, милое сердцу. Иной пустяк теперь казался значительным, вроде когда-то не смешное — забавным...

— Молотили-то ночами, помните? Керосиновый фонарь словно свечка теплится, молоты гудит, лошади без останову... Как-то уж на свету Степка с бичом уснул, а кони сами по кругу ходят и ходят, как заведенные...

— Ну, ну... А в шаромах как на покосе ночевали? Бывалоча, утром мара, зябко, а Митрий Семеныч уже литовки отбил — подымайтесь, девки, бабы, чтоб до завтрака по три ручки прошли.

— С покоса на лодке с песнями... Батюшки, уж как пели, как возгудали.

— В ту бы пору сегодняшние трактора да машины.

Вздохнула Дуня:

— Теперь-то чо не жить...

Высветлится в памяти давнишнее, и вроде по-иному увидишь то, что рядом теперь, словно оттуда издали явственней сегодняшнее. Дальнорзкостью это назвать, либо еще как? А может, то прошлое иначе воспринимается, потому что сегодня сыт и обут, все есть и не надо тебе ни молотить, ни подыматься чуть свет косить, ни обессиленному грести в лодке тяжелыми гребнями, возвращаясь с дальнег покоса по пустынной ночной реке? Сами ли мы изменились, память ли изменяет нам? Или

определяли в ту пору нашу жизнь не трудности и лишения, а что-то иное, и видится то прошлое другими глазами потому, что осталась где-то за поворотом реки молодость?

— А как покойничек Бородин на спор без портков косил? Литовка у него тяжелая, а Мишка-то и говорит — ежели, дядя Митя, без портков пройдешь прокос, отдам свою литовку, моя-то полегше...

— Чо только не выдумывали, когда молодые были...

Оживились, посветлели лицами Евдокии. Да только не денешься уже никуда от морщин, от щербин. Старушки...

— Теперь-то чо не жить...

Кажется, не переговорили обо всем, не всех своих деревенских вспомнили, а уже засобирались Евдокии по домам. Попрощались — и опять без улыбки, печально... Дуня у порога обернулась, махнула напоследок рукой, и Киселев почувствовал, как к его глазам подступили слезы. Может, и не придется больше свидеться...

— Как живется-то им? — спросил он, когда стукнула на кухне дверь за ушедшими.

— Ничего... Дуне, правда, похуже, мужичонка приняла пьющего, не схотела под старость лет одинокой быть, — сказала Зинаида, окая, чуть нараспев, и сережки в мочках ее ушей, качнувшись, блеснули рубиновыми камушками в такт словам. — Да мы с ней шибко-то не якшаемся. А Дуся — покрепче, через улицу наискосок от нас ее дом... Заполонная, как и была. Вечером выйдет за калитку свою скотину скликать, на всю округу слышать: «Пестрянка! Чернуха!» А то внуков... По первости Вовку домой загоняла, теперь Витьку. «Чего базлаешь? — говорю. — Парень уже с девчонкой гуляет, конфузишь только». Настька-то, дочь ее, с мужиком своим в обнимку спят, а она, покуда ребята домой не придут, все будет у окошка ждать... Заполонная, да и только. Все хочет, чтобы не хуже чем у людей. Егор на тракторе себе дров привезет, так и ей тут же беспрерывно надо. Сидела бы уж.

Егор налил себе и Киселеву водки:

— Чего-то ты худо пьешь. Я не злоупотребляю, но когда надо. Ко мне районное на-

чалство заезжает, в баньке попарются, а после ясно дело... Банька у меня хорошая.

Ушел в клуб молчком отужинавший Геннадий; Степанова жена, худенькая, смуглая Валентина, забежала с фермы и увела домой сонного упирающегося Миньку, а Киселев за сиделся с хозяевами за столом. Ему хотелось говорить с ними о том, что было связано с их общей молодостью, но Егор принялся сетовать, как трудно сейчас ему работать механиком — машин много, а запчастей не хватает. Зинаида начала жаловаться на ветеринара, который уехал на какое-то совещание, а ей пришлось отваживаться со своей обвешенной коровой. Бабка Пелагея несколько раз пыталась включиться в разговор, но ее не слушали, умолкнув, она конфузливо улыбалась и трясушей рукой принималась разглаживать перед собой скатерть.

Просвеченные изнутри матовые колпачки люстры отражались в стоявшем на комодѣ зеркале и оконном стекле, к которому со двора прильнула осенняя темень. Казалось, там за окном такая же люстра, зеркало, черно-пестрый ковер на стене и за накрытым столом тоже сидят Зинаида, Егор, бабка Пелагея и он сам — Киселев.

Потом Егор стал рассказывать про ремонт своего дома, опять про то, как отдал за заливку фундамента четыреста рублей и две недели бесплатно кормил калымщиков. Киселев слушал, и почему-то вспомнилось ему, как первой послевоенной весной пахали они вдвоем с Егоршей полосу за Пономаревым мостиком, и посеявший на соседнем поле дед Михей, нескладный от высокого роста и болезненной худобы старик, крадучись принес им на дне сеялки несколько пригоршней пшеницы. Они тут же сварили ее в котелке у края пашни и, обжигаясь и торопясь, ели пресное полусырое зерно.

— В брюхе допреет, — простуженным голосом приговаривал Егорша, поглаживая живот над зашнурованным. — Там, в брюхе-то, одне пестики натолченые...

Казалось, не было ничего общего у сидевшего сейчас за столом располневшего седого человека в нейлоновой сорочке с тем голодным пареньком в зачиненной рубашке и окрашенных

бурой краской холщовых брючишках, из которых высывались грязные босые ноги. Разве что те же, чуть навылупку, глаза да хрипотца в голосе... Сорвал ли он его, понукая коней за плугом, или застудил с малолетства босой на сырой земле?

— Помнишь пестики, Егор? — спросил вдруг Киселев.

Егор вскинул белесые брови.

— Пестики? А-а... Ну, ну... Бывало, мать натолчет полный чугунок, едим, покуда зеленый пот не прошибет, а жрать все охота... Чего их поминать теперь?

— Оне, може, тебя от голодной смерти отвели, — вздохнула бабка Пелагея и поглядела на Киселева, ища сочувствия.

— Не хочу про ту жисть говорить, — нахмурился Егор.

— Давайте я вам горячего чая налью, — Зинаида протянула руку к чашке, которую держал Киселев. — Этот, поди, остыл... Чего же вы плохо едите? Рыбы вон покушали бы.

Киселев отдал чашку и положил на тарелку со сковороды две слипшихся рыбешки. Они были почти без костей и, ковыряя вилкой, он не мог понять, что это за рыба.

— Стерлядка... Прежде эдаких недомерков обратно выкидывал, а сейчас и их давай сюда. — Егор не то усмехнулся, не то скривился. — Не стало доброй рыбы. Да она ничо... Вкусу, правда, еще нет, навроде тех пестиков.

Спать Киселеву Зинаида постелила на диване.

— Отдыхайте... Геннадий наш сегодня у дружка ночует.

Расчесала перед зеркалом волосы, уходя за перегородку, где уже лег отяжелевший Егор, обернулась:

— Если ночью на улицу, так дверь в сенях не забудьте на крючок.

Киселев собрался тушить свет, но с кухни робко зашла бабка Пелагея. Ища заделье, переставила на подоконнике какую-то баночку, прислонилась к побеленной печи, сцепив под фартуком руки.

— Будешь у матери на могилке-то, так и от меня поклонись... Подружки мы с ей бы-

ли, — вздохнула тихонечко. — Когда подыматься-то она уже не стала, зашла ее последний раз попроведать, поговорили, поутешались... «Давай, — просит, — напоследок попрощаемся, Пелагеюшка». — «Что же ты, мол, помирать собралась, може, подымешься еще?» — «Нет, — говорит, — не встать уже...» Царствие ей небесное. Двадцать пятый год, как успокоилась, а я все-то живу... Эттось видала во сне, быдто она корову погнала. Я же знаю, что у ей ноги болят, а тут шибко так побежала. И мне тоже быдто свою коровенку в стадо надо... Своих-то деревенских встречаешь кого? — спросила она, помолчав.

— Машу Фролину вижу иногда, Таскаева Константина.

— Старые-то, поди, все примерли. — Бабка приложила сведенные работой пальцы к печи. — Семен Шквородин со своей Морей то ли живы еще, то ли нет? Катька ихняя за прошлый год была здесь, дак сказывала — вся деревня разъехалась, а они, старые, еще вдвоем там две зимы зимовали. С лета завезут себе на лодке муки, соли, карасину... Семен же охотник, може, он еще сколько бы там пожил, дак Моря не схотела. Уехали к Катьке. А нашто они ей? — Бабка понизила голос до шепота. — Я бы дак пожила там... Хоть бы одним глазочком поглядеть на свое место...

— Мамаша, вы долго там с разговором? — раздался недовольный Зинаидин голос. — Человеку спать надо.

— Да я ничо, я ничо, — виновато сказала бабка, поспешно зашаркав на кухню. — Опять Минька куда-то мое лекарство задевал.

Выключив свет, Киселев долго лежал, глядя на светлевшее в темноте окно. Покалывало сердце. Слабо пахло нафталином от необмывшейся простыни, временами принимался гудеть холодильник, ненадолго умолкал и снова начинал ровно гудеть.

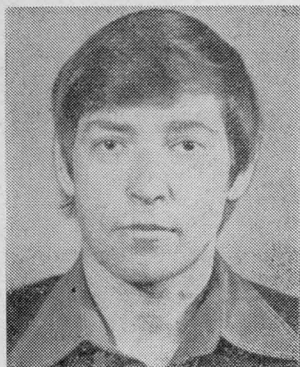
— Надо думать о чем-то хорошем, — прошептал Киселев, пытаясь уснуть. — Надо о чем-то хорошем... Вот Егорша хорошо живет...

Надсадно кашляла на кухне старуха.

— Егорша хорошо живет... Егорша хорошо... — шептал Киселев.

Сон не шел. Болела душа.

Павел Майский



* * *

Здесь, в городе, память о детстве остра,
Все видится зимнего леса молчанье,
Все слышится речки таежной журчанье
И пахнет дымком лугового костра...
А помнится, мы переехали в город —
Там празднично было. Забыл я тогда
Наш дом деревенский, сосну у забора
И двор, где за баней цвела лебеда.
Деревней тогда помыкали не в меру,
Все в город тянулись, чтоб жить помодней.
Теперь в городах даже мы, инженеры,
Душой потянулись как к матери к ней...
И вот она, матушка наша деревня —
Вон, с краю, наш дом с голиком на крыльце...
Да только березы вокруг поредели
И вместо таежной дороги — шоссе.
А речка, что летом беспечно плескалась
У скал вековых, окруженных тайгой,
Та речка, что в памяти прежней осталась,
Совсем обмелела и стала другой.
И там, где по шумной хрустальной стремнине
Когда-то таймени лобастые шли,
Хозяйственный дядя на самой середине
Старательно моет свои «Жигули».
Чуть выше по лугу под новый участок
Корчует кусты садовод-бодрячок,
Уверенный с виду, видать из начальства.
А там, где беспечно звенел родничок,

Три дачника бурят вручную колонку...
А в рощице, где распевал соловей,
Без умолку тявнует чья-то болонка,
Поди, благородных французских кровей!

* * *

Мечтаю все поехать на Урал.
Пожить в том самом домике у речки,
Где петухи горланят по утрам
И звезды гаснут медленно, как свечи.
Где в смоляных, задумчивых лесах
На взгорках вешних глухари токуют,
Где бабы носят клюкву в туесах,
Где мужики о промысле толкуют,
Где отдохнуть русалочка зовет
На дно пруда в июльский день погожий...
Где маленькая девочка живет,
Которая на маму так похожа!

* * *

Опускается за гору солнышко,
Пляшут мошки над теплым крыльцом,
У забора ромашки-подсолнухи
В молочаи уткнулись лицом...
Мимо этого домика, помнится,
Вот в такой же несуетный час,
Деревенский народ за околицы
Выходил свое стадо встречать.
И на насыпи, возле моста
Со старинною каменной аркой —
На языческом амфитеатре,
Занимали привычно места...
И глядели, как в согрe березовой,
Где закатный огонь уж потух,
Битый час норовистых буренушек
Собирали на дорогу пастух.

Любовались, как солнце за горы
Опускалось в закатной дали,
И степенно свои разговоры
Про заботы земные вели...
Лунный свет над селом занимался...
И сидел на ступеньке крыльца
Босоногий задумчивый мальчик,
Что родился под знаком Тельца.

* * *

Стала речка серьезнее в осень,
Утянуть норовит к омутам,
Вон как лодку течение-то сносит
К затонувшим в протоке кустам...
Точно вымерло все по округе,
Только скрипнет надсадисто ель,
Да по роще предзимник упругий
Затекает из листьев метель.
Здесь, над речкой, никто уж не ходит
Той тропинкой, где жил соловей.
Ходит только болотный охотник
С вислоухой собакой своей.
Он с утра по окрестным болотам
Всякий день совершает обход...
Вот опять он бабахнул в кого-то...
Дай-то бог промахнулся бы хоть!

* * *

Дверь открою в сени,
Выйду за порог
На густой, весенний
Знобкий ветерок.
Зайчиком сверкает
Солнышко в окне,
Тишина такая —
Слышно тает снег!

К выгоревшим сенцам
Прислонюсь спиной,
Задохнется сердце
Радостью лесной
И легко до дрожи
Станет на душе...
Будто и не прожил
Столько лет уже.

КОЛИНА МОГИЛКА

Тихо здесь. Лишь в камышах, у плеса,
Выпь неугомонная бурчит,
Да на ветерке сквозном береза
Листьями-ладошками стучит...
Вечер, у дороги на развилке
Деревенский съехался погост...
У забытой Колиной могилки
Я, видать, единственной гость.
Никому теперь и неизвестно —
Почитай минуло двадцать лет, —
Что схоронен в этом тихом месте
Леспромхозом признанный поэт.
Я когда-то здесь учился в школе
И за честь великую считал
Побывать в избушке, где нам Коля
Новые стихи свои читал.
Были в тех стихах любовь и слезы,
Критика ядреная, причем
Даже сам директор леспромхоза
Получался вроде бы рвачом!
Коля жизнь серьезно понимал...
Только надо ж было так случиться:
Нож ему вогнали под ключицу,
Он у клуба драку разнимал...
Тихо здесь. Луна встает над полем.
Тянет ветерок ночной с реки...
На селе, где жил когда-то Коля,
Телевизор смотрят мужики.

г. Новокузнецк



Павел Броницкий

ДРЕВНЕЕ РАЗУМА

Вам знакомо чувство умиротворенности, когда кончается рабочая неделя, а ни одного нагоняя не было и потому вы успели много и хорошо потрудиться? Конечно, знакомо, и особенно приятно это именно оттого, что бывает редко. Вот в таком безмятежном состоянии я делал график, который собирался написать только в понедельник, и от собственного великодушия, что работаю сверх меры и работаю легко, с удовольствием, я собирался только через часик выйти из своей подвальной мастерской, чтобы с чистой совестью, независимо сесть в автобус. Мое лицо будет выделяться среди лиц прочих незамутненностью и снисходительностью, так как сегодня у меня на редкость все в порядке.

Рука была послушной и точной, и перо не задирало бумагу, и я спокойно и радостно предвкушал вечернюю встречу с друзьями, легкое застолье по случаю пятницы, чтение приятной книги перед сном и даже чувствовал уже бодрость завтрашнего светлого утра.

Вокруг меня был комбинат, во множестве цехов которого вращаются тяжелые мельницы, дробящие руду, ездят груженные составы и многотонные самосвалы, но только по едва заметной вибрации пола можно догадаться об этом. А у меня на столе чуть поскрипывает

перо, и лист ватмана покрывается четкими значками букв с легким наклоном вправо. Сияют нетронутой белизной поля — воздух, как говорят оформители. И тишина, прерываемая на секунду падающей где-то за стеной каплей воды.

Вдруг я услышал мяуканье. Удивился, как попала сюда кошка, если все плотно закрыто, встал, с удовольствием разминая ноги, и вышел в коридор. Мяуканье громче. В голосе животного было что-то требовательное, вынужденное что-то. В коридоре никого. Отпер дверь в узкий и темный туннельчик, наштипованный всяческими трубами, патрубками и вентилями. С потолка музыкально падали тяжелые капли, и было душно. В воде на бетонном разбитом полу стояла молодая кошка и смотрела мне в глаза. У нее была маленькая голова с острой мордочкой, я подумал, какая она худая. Кошка коротко крикнула, это не было уже мяуканье. Из ее зрачков изливалась желтая ненависть.

Я слегка растерялся. В полутьме то вспыхивали долгие сумасшедшие огни, то медленно потухали. Я почувствовал, как протягиваются какие-то нити, связывающие меня, оформителя строительной конторы, с этим зверем; зверем, ибо эта кошка не походила на домашнюю ласковую игрушку.

Она опять коротко закричала, и голос ее был под стать худобе — низкий и утробный. Худая кошка, почти котенок, видела во мне врага, и я не понял, почему.

И все же она просила помощи. «Помоги мне,— прочитал я в ее ненавидящих глазах,— помоги, если ты здесь хозяин...»

Я растерянно посторонился, и она вышла из воды, оставляя маленькие грязные следы. На свету обнаружился огромный живот и выпирающие от худобы ребра. Ко всему виденному воображение добавило скитания кошки среди грозно торчащего ржавого металла, железной тяжелой пыли, спующих людей с озабоченными лицами, щедрых на окрики и пинки, и я вынужден был признать, что кроме подвала, вроде моего, везде животное обречено. Жалость пронизала меня, и я почему-то стал искать в карманах деньги. «Медяки... только на автобус. И что делать с кошкой? Сегодня пятница, через полчаса кончится мой рабочий день, а до дому час езды. Пищи никакой нет. Если я запру ее здесь почти на трое суток... И когда она рожать станет? Хорошо, если в понедельник, а если ночью?»

Стою истуканом, и кошка замерла перед моей дверью, повернула голову ко мне и пылает своими зрачками. Опять я ощутил жуткий звериный зов и поневоле перенесся мысленно в далекие времена, когда не было еще всех этих штучек — сомнений, самооправданий... Когда все укладывалось в простое действие — либо убил, либо защитил, когда отказ в помощи был равносильен гибели, только более медленной, а значит, был неоправданной жестокостью.

Я почувствовал, как во мне что-то лопнуло, — наверно, спокойный эгоизм взрослого человека.

Рысью кинулся по коридору, схватил старый лозунг с осыпающимися белыми буквами — сырой. Перехватал несколько ворохов уже не нужных транспарантов и выбрал самый сухой. Бегом вернулся. Кошка шелестела мятыми газетами, по-хозяйски устраивалась в ящике с бумажным мусором. Она расположилась как дома, но едва я подошел, как навстречу поднялся зверь и опять загорелся жестким желтым огнем глаза: «Не хочешь ли

ты порадоваться легкой победой? Не жди...»

От знающих людей, которые уже воспитывали кошек, я слышал, что иногда мамаша съедает своих котят, — не оттого ли, что люди брали новорожденных в руки.

Огромный живот с выпирающими ребрами, источающие зло глаза... Я осторожно, чуть ли не виновато, опустил кусок старой ткани в ящик. Кошка покосилась на мою руку и надсадно закричала.

Она не верила мне. А может быть, хотела есть?

Я взбежал по лестнице к уборщице. У нее нашлась жареная рыба. Принес, налил в банку воды и тихонько запер за собой дверь.

Ночью я долго не мог заснуть. Мне казалось, что я слышу, как шуршит кошка, делая из моих лозунгов логово. Из темноты на меня смотрели глаза бездомного животного, которое родилось домашним. Оно готово ослепить мир своими первыми детьми, но если им будет грозить опасность, оно готово съесть котят. Древнее разума инстинкт древней души: помоги беспомощному, как умеешь.

Мальчиком лет пяти я увидел в пыльной городской траве под хилым кустиком крошечного котенка. Он ребенок, я ребенок. Мама не успела запретить, как я подбежал к нему и погладил. Сын кошки повернулся к моей руке всем телом, ткнулся носом в палец и поднял мордочку, я вскрикнул.

Я вскрикнул так, что моя мама тоже закричала и бросилась ко мне.

Котенку кто-то выколол глаза.

Тогда я по этому поводу ничего думать не хотел, а просто взял его в руки и понес домой. Мама мягко стала его отнимать, и в конце концов победила взрослая правильность, которая еще называется рациональной жестокостью. Уговорить меня было невозможно, потому что нельзя же оставить котенка — такого маленького! — одного без присмотра на улице. А он еще и слепой!..

А мама думала лишь о том, что ее сын — ребенок очень болезненный, что врачи запретили иметь в квартире животных, ковры и

библиотеку, чтобы предотвратить приступы удушья, которые у меня вызывала шерсть, домашняя пыль.

Попытку спасти того слепого котенка я вспоминаю как кошмар, вроде того, когда убегаешь, но ноги не слушаются и убежать не можешь. Или — когда безнадежно падаешь и, за что ни схватишься, все обламывается и летит вместе с тобой, летит...

От бессилия помочь котенку я тогда слег сразу: истерика, температура, врачи. Как-то ненаучно все получилось: удушье началось и без присутствия котенка, — и не было никакой пыли, шерсти, книг...

Но теперь я взрослый. Я полномочен помогать и спасать. Утром привезу кошке молока. Если ребята узнают, что я в субботу ездил из-за кошки — подумать надо! — на комбинат, они решат, что я псих.

Когда же мне приснилось, что прорвало отопление и подвал затопило — так уже не раз бывало, — я проснулся... Да, если я увидел во сне не что угодно, а как врываются струйки воды в ящик с копошащимися котятками, я действительно псих. Впрочем, это не страшно — буду пить молоко и делать по утрам обтирания.

Но если она их не съест?..

БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ

Тысячу лет назад, в детстве, мы приезжали сюда на велосипедах, и было это место дико и глухо. Презрительно кривя свои худые коричневые лица с облупленными носами, мчались мы мимо культурного пляжа с его киосками, толстыми женщинами и копошащейся детворой, сильно жали на педали, и земля охотно поворачивалась к нам той стороной, на которой люди еще ничего не успели сделать.

Нам нужен был крутой обрыв, чтобы рыть пещеры... чтобы перед входом горел костер, безлюдье и тишина. Жалобно звякая, падали наши многотрадные велосипеды, а мы стремглав бросались к воде, на ходу сбрасывая намочки от пота рубахи, в ореоле брызг пробегали по мелководью, и со всех сторон тело охватывала река. Какое это наслаждение — после двадцати километров жаркой и пыльной дороги в одну секунду снова стать чистым и свежим. В эту самую секунду радость жизни переполняет до кругов перед глазами.

Помню, что от полноты счастья мы кричали, даже не успев вынырнуть.

Было нам лет по двенадцати, и вполне естественно, мы считали себя взрослыми и независимыми. Но из нас один был самым независимым, звали его Мика. Что бы ни было задумано, он делал по-своему и лучше

остальных, и чаще всего мы делали то, что уже начал он. Мика был младше каждого из нас на год, но ростом и силой превосходил всех. Кроме того, он был отъявленным фантазером. Зачем ему при его физических данных нужна была еще и фантазия, мы только могли гадать.

Однажды он сказал нам, что у него есть лодка, что она стоит у его собственного причала, там, на озере у пещеры, и что если мы хотим поплавать на ней, то должны помочь ему сделать мачту и парус.

Разумеется, ему никто не поверил, потому что лодка просто так не появится, она, может, целых сто рублей стоит. Но пометать о своей лодке хотелось, и мы наперебой стали говорить, какой должна быть настоящая лодка или — еще лучше — шлюпка и какое у нее должно быть название.

Все мы росли у большой реки, в каждой семье был моряк. Мы для своих двенадцати лет были вполне компетентными советчиками, но Мика так не считал. Он независимо сел на велосипед и вызывающе поехал, виляя по всей ширине дороги. Уже издали он крикнул, обернувшись к нам, что и сам знает, что делать и как, и название у него есть, какое нам не снилось. И уехал.

Мы остались, озадаченные и разобитые его самостоятельностью, а Славка по кличке

Славян, обычно самый угнетаемый Микой, тот даже передразнил его манеру говорить, задирая нос и глядя поверх голов. Мы посмеялись, но каждый чувствовал, что у Мики и вправду есть что-то... Ну, не лодка, а, например, плот какой-нибудь. Мы говорили, что считали его настоящим другом, а он, оказывается, одиноличник, жадоба и врун. Но чем больше мы ругали Мику, тем сильнее завидовали его тайне. И в конце концов поверили в его лодку.

Решено было Мику другом не считать и больше с ним не разговаривать. Пусть сам катается на своей лодке!

Через несколько дней, когда закончились дожди, мы решили ехать купаться на затоны, но это вдруг показалось слишком близко и неинтересно. И мы поехали на озеро, на наше место. Каждому хотелось посмотреть на Микину лодку, хотя, конечно, об этом никто не заикнулся.

Когда приехали, то первым делом убедились: никакого причала нет. Но на песке — след носа лодки, рядом вбит толстый кол. Далеко-далеко была видна какая-то лодка, но кто в ней и как она называется, разобрать было нельзя.

Славян молча исчез в кустах, пошуршал там и выкрикнул: «Микина лайба!» Это значило, что он нашел велосипед Мики.

И все поняли, что там, далеко на середине озера, — Мика, и он там один, в своей лодке.

Мы стали купаться, но удовольствие от воды, мутноватой после дождя и слишком теплой, пропало, потому что невозможно было спокойно думать о том, что он там гребет один и не боится уплыть так далеко, за целый километр или даже за целую милю — так говорят моряки, — а миля гораздо больше километра.

Кто-то вспомнил, что Мика звал ехать сюда в дождь, но мы не захотели, и Мика рассердился. Тогда он, видимо, и раздобыл эту лодку.

Я, как и все, старался показать полное безразличие к лодке и к Мике, но вглядываясь в светлый горизонт до тех пор, пока перед глазами не побежали зеленые разводы. Но тут Колька-Кнут, прозванный так за худобу и

длинную спину, вечно ободранную и оттого пятнистую, забыл о своем безразличии, встал и, приложив руку к глазам, крикнул: «Сюда! Он гребет сюда...»

И все устыдились Кнута и самих себя. Я это почувствовал по себе и небрежно бросил: «Слабó? Заело? Давай лучше играть в ловы».

Глубина для игры в ловы нужна небольшая, по плечи. Когда приближается лова, надо как можно выше выскочить из воды, распрямиться во весь рост, уйти под воду и там быстро согнуться. Едва голова скроется, изо всей силы оттолкнуться ото дна и нырнуть в сторону. Проплыть метров пятнадцать под водой мог из нас каждый, важно было выбрать неожиданное направление, вынырнуть у ловы за спиной и тем самым его одурачить.

Ловой чаще других был я, потому что плохо убежал, — лова почти всегда видел, куда я поплыл. И когда лодка приблизилась настолько, что мы узнали Мику, ловой опять был я.

Мика стоял на корме, управлялся одним веслом, по-индейски, и пел победную песню. Когда же он смолк и в тишине стал слышен только плеск его весла да шорох камыша о борта его лодки, соблазн пересилил всю нашу враждебность к Мике. Лучше всех это выразил Славян. Он закричал: «Мика! Плыви сюда!»

Хотя Мика и так плыл сюда.

Мы неодобрительно покосились на несчастного Славяна, но мне показалось, что кое-кто в душе пожалел, что это не он крикнул. И как-то само собой стало ясно, что Мика значительней и лучше любого из нас и что наша независимость трещит по всем швам.

Мне стало грустно, я поднялся с песка, на который было присел — надоело «ловить», — надел свои штаны и поднял свой велосипед. Но чтобы уехать, нужно было разок обернуться.

Лодка называлась «Беспредельное Счастье».

От такого могли разболеться зубы, но я все-таки совладал с собой и уехал. Видеть не хотелось этих несчастных слабаков, пусть даже у лодки шикарное название.

Я успокаивал себя, что долго они не продержатся, что их любимый Мика еще себя покажет.

Так и случилось. Через два или три дня пришел ко мне Славян — ему всегда доставалось улаживать дела — и предложил поехать всем вместе на затоны.

— А почему не на озеро? — озабоченно спросил я его. — Все-таки — лодка «Беспредельное Счастье!» А?

Славян пристыженно молчал. Хотелось покрепче их задеть, и я не унимался, жестоко покаявая Славяна и в его лице остальных: «Да и Мика вам настоящий друг, не то что я...»

— Не задавайся, — пробормотал он, и я понял, что друзья мои просят пощады.

После обеда в моем дворе зазвенели велосипеды, и я, неторопливо дожевывая, вышел. Победа была полной.

Как-то само получилось так, что на наше старое место с пещерой и камышами ездить мы перестали, а увлеклись рыбалкой и зачастили на другое озеро. Оно было ничуть не хуже.

Мы брали с собой парня постарше, чтобы был паспорт, всячески угодничали перед Куликом — главным начальником над всеми лодками — и, оказавшись в лодке, знали, что это и есть настоящее счастье. Мы старательно гребли, отгалкивались шестом от дна, пробирались среди камыша и вспугивали ондатр. Проголодавшись, набрасывались на сверточки, заботливо приготовленные мамами, — рыба почему-то не ловилась. Но это никого не огорчало, потому что рыбалка не из-за рыбы, а из-за лодки и озера и хора лягушек перед рассветом.

Ну, разве могли мы долго сожалеть о Микиной лодке, какое бы там ни было у нее название? Нет, конечно!

Мика тоже недолго жалел о нас, потерянных для него. Он связался со старшими ребятами, о которых ходили разные темные слухи.

В следующие годы мы с Микой не водились, но знали от общих знакомых, что его родители разошлись, потому что мама его оглохла, а отец будто бы сказал, что он еще молодой, и тому подобное.

Встретил Мiku однажды на танцах и еле узнал. Его мужественное лицо почти скрывалось в волосах, обветренный нос был перебит. Руки он шикарно не вынимал из карманов, а если вынимал, то чтобы закурить или ударить. Он не танцевал. Его окружали известные всему городу ребята, говорили о чем-то, одним им понятном, и зловеще улыбались. Мика был замечен среди них, ему оказывали уважение. Он только что бил с ног какого-то паренька, и того увели, поддерживая под руки: следом побежала визжащая девчонка. Кто-то лез к Мике, кого-то удерживали. Мика делал вид, что не видит этого. Заметив меня, он подошел. Я не успел ни отвернуться, ни исчезнуть. Мика протянул мне руку, я ответил пожатием. Он сдалил сильнее, и я пожалел об этой встрече. Мне было не по себе. Он же вполне миролюбиво поинтересовался, где я пропадал столько времени. Мы поговорили о том о сем, и тут появилась милиция.

— Надо жить интересно, — сказал Мика, пошвытывая шипящими, что было тогда модно среди молодежи, — надо бить быстро. Займи три рубля, завтра отдам. Помнишь мою лодку?

— У меня нет, — быстро сказал я, видя, что милиционер подходит к нам. — Я спешу, извини.

Мика не видел милиционера, он стоял спиной к двери. Я стал протискиваться между стоящими. Еще не хватало быть замешанным в глупую Микину драку!

Спустя несколько лет мы опять случайно встретились. Было темно, накрапывал мелкий надоедливый дождик, я шел с женщиной куда-то в гости. Из-за угла вынырнуло несколько человек, промокших, видимо, до костей. Они были без плащей, в обвисшей одежде. Моя спутница вздрогнула и прижалась ко мне плотнее.

— Дай-ка закурить, кореш! — услышал я голос, он показался мне знакомым. Я повернулся спиной к свету и всмотрелся. Парни за спиной водителя сгрудились в кучу, двое зашли сбоку. Я полез в карман и со словами:

«Промышляешь, Мика?» — протянул ему сигарету. Он глянул в упор и хлопнул меня по плечу: «Привет, старина! Давно приехал?»

Парни ожидали не этого, они опустили плечи и по одному прошли мимо, слегка касаясь моего плеча. Это означало: «Повезло, дешево отделался».

— Я возьму всю пачку, — не столько спрашивая, сколько утверждая, сказал Мика и подергал плечом. Покопился на мою спутницу и добавил: — Жена?

— Не борзей, Мика, — ответил я, — возьми три штуки. Жена.

— Не знакомишь? — легко выдохнул он, принимая сигареты.

— Сам понимаешь, — сказал я и слегка шлепнул его по спине.

Он ответил дружески шлепком и пропал в темноте. Мы пошли дальше, и я почувствовал, что мои ноги дрожат.

— Это твой друг? — спросила, придя в себя, женщина. Спросила так, что при положительном ответе — я почувствовал это — она сочла бы меня бандитом.

— Ничего общего, — ответил я серьезно.

Но это было не совсем так, потому что стоило мне услышать про Мику, как вспоминалось детство, его лодка с двумя слепящими белизной словами... Я корил себя за тогдашнюю зависть к счастливцу-сопернику, смеялся над своей нелепой злопамятностью, — мне всегда хотелось подраться с ним, и только из-за благоразумия это не случилось. Разумеется, из-за моего благоразумия.

Прошло еще несколько лет. Больше слухов о Мике не было. Он бесследно исчез. Впрочем, некоторые считали, что он где-то сидит в тюрьме.

Когда я вновь приехал в свой родной город, то неожиданно — это всегда бывает неожиданно — встретил давнюю-давнюю знакомую, с которой, помнится, никогда не ссорился. Оба обрадовались встрече и решили как-нибудь съездить на озеро и провести там день-два.

— А когда?

— Давай поедем сейчас же! — предложила она и так посмотрела на меня, что не согласиться было неловко.

Через час мы уже ехали в автобусе, ловили взгляды друг друга и вкладывали в ответные улыбки все лучшее, что осталось у двух одиноких людей.

Еще через час мы энергично уговаривали пожилую тетеньку из плавучей гостиницы, но напрасно: «Рано приехали, еще не работаем».

— Костер... — сказала моя спутница.

— Не так просто, — возразил я, потому что во мне проснулся горожанин-анахорет, которого трудно вытащить из квартиры. Мысль о костре была великолепна как мысль, но перспектива поддерживать его всю ночь — увольте!

Подруга не унывала, проиграв сражение за номер в гостинице, она выиграла костер, и я подчинился ее натиску.

Мы долго шли по берегу. Я был принципиален: уж коли твой костер, то место выберу я. И мы шли. Позади остались пионерские лагеря, пансионаты, кемпинги — понастроили за эти годы немало...

Когда уже казалось, что мы идем бесцельно и никогда не найдем хорошего места, я остановился, как прилип к песку: наша пещера!

Подумал, что показалось, в конце концов разве мы одни ездил сюда? Столько лет...

Но пещера была наша. А против нее в камышах лежало то, что когда-то было лодкой Мики.

Этому я поверить не мог. Еще раз оглянувшись на обрыв: повыше пещеры виднелся памятный фундамент дома, неизвестно кем и когда строенного, камни фундамента были намертво схвачены неведомой крепости раствором, они стали гладкими от бесчисленных потоков воды, утекшей с тех пор, с того лета и с тех лет, что были до нас...

Пещера казалась такой маленькой, словно ее рыл зверек.

Я положил вещи на песок и, не говоря ни слова, пошел к камышам, к лодке.

Озеро обмелело — никто не смог бы оттащить так далеко от воды тяжелую посудину. Внимательно осмотрел и понял, что это была мореходная шлюпка, «четверка», как ее называют по числу гребцов. Она способна ходить в волну, нести около тонны груза... Но все это чепуха, потому что на развалившемся

носу, на той стороне его, которая всегда была в тени, сохранились едва различимые остатки белых букв.

Сразу вспомнилось все: и наша зависть, и наша вражда, и восхищение. И неимоверная гордость Мики — гордость единственного из людей, обладающего «Беспредельным Счастьем» и теряющего ради невесомых сияющих этих двух слов четырех друзей. Я прикрыл глаза и увидел на воде шлюпку с высоким носом, увидел на корме шлюпки Мику, тогда еще тонкого и юного, с только еще чуть-чуть запачканными руками... Вода сияла под безоблачным небом, слепила глаза, и смотреть было больно, но мы, четверо сорванцов, смотрели, приставляя руки ко лбу и щурясь от света, а наш кумир уже становился врагом.

Голос спутницы прервал мою экскурсию в детство и, собирая сушняк, я неожиданно подумал, как мне кажется, до конца странную мысль, что Мика понес кару. Мика наказан исчезновением именно за это, неизвестно где взятое счастье.

Но кто мне скажет, где и как следует брать по закону и вообще следует ли брать себе счастье?

...Костер горит без дыма, быстро съедает сухой камыш и ветки умерших давно деревьев.

— Думала ты о счастье? — спросил я, чтобы как-то помочь нам обоим и нашему разговору. Она оторвала взгляд от пламени и какую-то секунду мне почудилась чернота ночи в ее глазах.

— Да, — однозначно обронила она, и голос стал неузнаваемо глухим. Почему-то вспомнилось, как мы кричали под водой и слышно было только мычание и бульканье. Славян уверял нас, что очень хорошо слышит, что говорится под водой. Мика его проверил и признал, что правда. наших проверок Славян не прошел, но чтобы не сердить Мику, мы промолчали.

— Я знаю, почему ты спросил, — продолжала она после долгой-долгой паузы. — Ты все вспомнил, даже то, чего не знал.

Меня удивило это заявление, а в особен-

г. Прокопьевск

ности тон, каким это было сказано, но говорить ничего не хотелось — ждал ответа.

— Все всегда завидовали ему!.. — она словно бросала обвинения, и вдруг я понял, что она все знает, что она говорит о Мике. Я настолько растерялся, что сказал только:

— Мика?

— Ему все всегда завидовали, а сами быть такими же не могли. Ты — например.

— Подожди, — выдал я, слегка остывая от горечи открытия, — подожди, откуда ты его знаешь? Мы же знакомы лет пятнадцать, не меньше?..

— Столько же я знаю его. Я была ему женой, второй. А на самом деле — первой!

И произошло чудо: я вспомнил всю эту историю; я не хотел в нее верить, но — что было, то было. Части событий я не знал, но цепь логики явила недостающие звенья.

Много лет назад я мечтал о том, что понравлюсь этой девчонке. Мы дружили школьно, официально, что ли? А неофициально она любила Мику. Этого я признать не мог и не признавал. Мика на нее не смотрел, и поэтому ей нужен был я.

В первую же ночь после женитьбы Мики она выпрыгнула в спальню молодых через окно. В руке ее был зажат перочинный ножичек.

— Или я или никто! — крикнула она.

Новобрачная с визгом выпорхнула из комнаты. Мика одной рукой бросил гостью на кровать, другой — закрыл окно.

На следующий день Мика подал на развод, а потом уехал со своей гостьей в неизвестные края.

— Где же сейчас Мика? — холодно спросил я, прикуривая от одной сигареты другую и ощущая колотье в боку. — Сидит — или...

Она неслышно, одними губами что-то сказала, но я понял, что Мики в живых нет. И что она по-прежнему любит одного Мику...

Я встал и пошел. Озеро сонно дышало и пахло молоком. Камыши окутались туманом, и луна плыла на едва заметном теле волны, как половинка яблока. А где другая половинка? Может быть, ее тоже забрал себе Мика?

«Ты права, — мысленно сказал я спутнице. — Я и сейчас ему завидую».

Валерий Баранов

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ АССОЦИАТИВНОГО МЕТОДА ВОСПИТАНИЯ МАЛЕНЬКИХ РЕБЯТИШЕК

Сегодня вечером я уединился на кухне. Когда я выходил из комнаты, жена лежала на диване и читала журнал, а мой четырехлетний сынишка играл на полу с грузовиком и кубиками. Телевизор был выключен. Мир и покой царили в нашем доме, и я не заметил, сколько времени пробыл на кухне один. Помню только, что в поставленном мною на плиту чайнике вода еще не успела закипеть, как из комнаты послышался сильный шум, сменившийся тишиной, потом — какая-то возня и крики жены и наконец — рев Николая. Я всему этому удивился, но решил в комнату не ходить, чтобы не участвовать в скандале, который они там устроили.

Скоро на кухне появился Николай. Щеки у него были ярко-красные, а глаза блестели от слез. Он остановился возле холодильника и стал наблюдать, как я завариваю чай. Вид у него был сердитый. Я молчал. Наконец ему надоело мое молчание, и он заявил:

— А меня мамочка отдула и прогнала к тебе!

Я посмотрел на него с осуждением и сказал:

— Что же мне теперь с тобой делать?

— Ничего не делать...

— А за что тебя мамочка отдула?

— Я надел зеленую каску со звездой и взял автомат... — сказал Николай и замялся.

— А дальше что ты стал делать?

— А дальше я залез на стул, а потом залез на стол... А мамочка читала книжку и не видела... — Николай опять замолчал.

— Ну и что ты сделал потом?

— Ну, я стал стрелять фашистов... А потом они меня ранили, и я спрыгнул на пол и стал умирать, как меня учил Сергей.

Я представил себя на месте жены и пожегился.

— Ты понимаешь, что ты сильно напугал мамочку? — строго спросил я Николая.

— Она меня отдула... — промямлил он и шмыгнул носом.

— Ты понимаешь, что ты мог сильно ушибиться, когда прыгал, и даже мог поломать себе руку или ногу?

Николай стал шмыгать носом часто и приготовился реветь.

«Как-то надо не так, — подумал я, — он понял только то, что рассердил нас, а больше он ничего не понял. Надо по-другому...»

— Хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Хочу!

Николай уже улыбается, отходит от холодильника и устранивается возле меня на табуретке.

— Так вот, слушай. Давным-давно в маленьком домике жили Бабушка и Дедушка. С ними еще жил хитрый кот Васька, а домик сторожил самый обыкновенный пес по имени Дружок. Лучше всех в этом домике жилось,

Конечно, хитрому коту Ваське. Он целыми днями ничего не делал, вкусно ел, сладко спал да еще посмеивался над теми, кто честно трудился.

Но вот однажды Бабушка говорит Деду: «Давай, Дед, прогоним кота. Нет от него никакого толку! Мыши-то совсем в доме полисточили». Услышал кот Васька, что Бабушка про него сказала, и расстроился... «Что-то надо делать!» — думает. Слез он с печки, вышел во двор, увидел там пса, подошел к нему и говорит: «Слушай, Дружок, помоги мне... Поймай мне трех мышек! Я тебе за них три куриные косточки дам». «Гав, гав!» — отвечает ему Дружок. — Ты половчее меня умеешь мышей ловить. Что же ты сам не поймал трех мышек?» «Ох, ох...» — говорит хитрый кот Васька, — расхворался я что-то, голова кружится, ножки дрожат, не вижу ничего. Начну сам мышей ловить — побью все бабушкины горшки в подполье. Прогонит тогда она меня из дому».

Пожалел Дружок кота. Добрый он был. «Ладно, — говорит, — показывай, где твои мыши живут». Привел кот Дружка к лазу в подполье и говорит: «Полезай туда! Там мышей видимо-невидимо». Попробовал Дружок пролезть в лаз — не получается у него. Узкий лаз! Для кота сделан, а не для собаки. «Не пролезу!» — говорит Дружок коту, — показывай другое место, где мыши живут!» «Вот беда!» — огорчился кот, — что же делать? Ведь все на свете мыши живут в нашем подполье! Что-то надо придумать...»

Пошел кот, разыскал Бабушку. Она в огороде огурцы поливала. Надулся хитрый кот, распушился, стал еще толще, совсем круглым сделался, как шар. Подошел он к Бабушке и говорит: «Хотел я сегодня всех мышей в подполье переловить... Да вот беда! Что-то лаз узковат. Попасть в подполье не могу». Посмотрела Бабушка на кота и говорит: «И правда... Не пролезет он в лаз!» Пошла Бабушка к Деду и сказала, чтобы он для кота лаз в подполье пошире сделал. Взял Дед топор и расширил лаз.

Тогда кот снова привел к лазу Дружка и говорит ему: «Пробуй теперь!» «Теперь пролезу!» — говорит Дружок. «Ну вот и полезай

туда. Да без трех мышек не возвращайся!» — говорит кот. «А ты разве не полезешь со мной, не покажешь, как мышей ловить?» — спрашивает Дружок кота. «Не могу, — отвечает кот, — там много пыли и везде паутина, а это очень вредно при моей болезни. Я лучше пойду достану для тебя косточки».

И полез Дружок в подполье один. Ох и темно там оказалось. Мыши вокруг него бегают, пищат. Принялся он их ловить. Ловил, ловил — ничего не поймал! Да еще разбил самый большой горшок, который стоял в углу... А как только тот горшок разбился, из него страшный косматый мужик выскочил. Схватил он Дружка за шкуру и говорит: «Я Бун-Бун Горшечный Дух! Как ты посмел мой горшок разбить? Я тебя сейчас накажу!» Испугался Дружок и говорит: «Не виноват я! Кот Васька во всем виноват! Это он меня сюда послал мышей ловить». «Веди сюда кота Ваську, — говорит Бун-Бун Горшечный Дух, — я его накажу!»

Пошел Дружок и привел кота Ваську. Схватил Бун-Бун кота Ваську за шкуру и говорит ему: «Это ты Дружка в подполье послал мышей ловить? А Дружок неловкий — горшок разбил. Горшок разбил — меня разбудил. Я тебя сейчас накажу!» Испугался кот Васька и говорит: «Не виноват я! Бабушка во всем виновата! Я ленивой болезнью болею, а она мне грозит — заставляет мышей ловить. Вот я и попросил Дружка помочь мне». «Веди сюда Бабушку!» — говорит Бун-Бун Горшечный Дух.

Пошел кот и привел Бабушку... Увидел Бун-Бун Бабушку, топнул ногой и говорит: «Это ты заставляешь кота мышей ловить, а кот ленивой болезнью болеет — попросил собаку помочь, а собака неловкая — разбила горшок, разбила горшок — разбудила меня... Я тебя сейчас накажу!» Испугалась Бабушка и говорит: «Не виновата я! Дед во всем виноват! Мыши в доме весь пол источили, а Дед не хочет чинить. Вот и посылаю я кота ловить мышей». «Веди сюда Деда!» — говорит Бун-Бун Горшечный Дух.

Пошла Бабушка и привела Деда. Увидел Бун-Бун Деда и говорит ему: «Это ты не хочешь пол чинить, который мыши поисточи-

ли, а поэтому Бабушка заставляет кота мышей ловить, а кот ленивой болезнью болеет — попросил собаку помочь, а собака неловкая — разбила горшок, разбила горшок — разбудила меня... Я тебя сейчас накажу!» Почесал Дед затылок и говорит: «Раз виноват — никуда не денешься... Наказывай!» Тогда пошарил Бун-Бун в своей сумке и достает из нее что-то, а что он достал не видать — в подполье-то темно. Отдал Бун-Бун это что-то Деду и говорит: «Вот тебе в наказание черный горох. Потолчешь этот черный горох в чугунной ступке — получится порошок... Будешь тот порошок себе в щи и в уху сыпать! А для меня поставь в углу другой большой горшок».

Делать нечего! Пришлось Деду сделать все так, как приказал ему Бун-Бун Горшечный Дух... И с тех пор каждый раз, когда садится Дед есть уху или щи — сыплет он себе в миску тот порошок, который ему Бун-Бун Горшечный Дух дал... Ест Дед уху и крахтит: «Ох, жжет! Ох, зол порошок!» И на глазах у Деда слезы появляются. А рядом Бабушка, кот и собака сидят. Смотрят на Деда и жалеют его.

Николай некоторое время молчит. Потом вздыхает и говорит:

— Хорошая сказка... Теперь я буду знать, что черный перец растет под полом и там его собирает в свою сумку Бун-Бун Горшечный Дух.

— Вот поэтому я тебе всегда и говорю, что нельзя сильно шуметь в доме, а тем более прыгать со стола на пол... А то разбудишь Бун-Буна, и он в наказание заставит тебя всю жизнь есть суп с горьким черным перцем.

Николай с жалостью смотрит на меня:

— Бедный мой папа... Когда ты был маленьким, ты, наверное, много шалил.

— Ну уж нет! В детстве я был очень спокойным и послушным мальчиком.

Николай нагло ухмыляется и слушает, как оправдываюсь я.

— А ну марш спать! — кричу я на Николая и топая ногами.

Николай быстренько сматывается из кухни, а я сижу один, рассерженный...

Мир и покой царят в нашем доме.

Николай Скоров

В СИНИХ СУМЕРКАХ

Без толку прогнавшись весь день за тетеревиной стаей, я наконец понял, что надежды подстрелить зазевавшегося косача нет. Повернул к дому. И только тогда с удивлением обнаружил, что солнце подкатилось к вершкам стройных елей.

Прикинув расстояние до деревни, где думал ночевать, я резво припустился в путь, уже не помышляя об охоте.

До первых елей, недалеко от основного массива, я добрался, когда солнце уже почти скрылось. К тому же кроны хвойных деревьев почти не пропускали света. Под их сводами было сумеречно и таинственно. Глубокую тишину нарушало только глухое шуршание лыж

по снегу. Идти приходилось по целине — разыскивать свою старую лыжню было некогда. Шел осторожно, опасаясь в буреломе поломать лыжи.

Воздух синел и сгущался. Только вершины самых высоких елей и пихт еще розово отсвечивали.

Полянка посредине хвойного массива открылась внезапно. Синие сумерки коснулись и ее, хотя на ней света было гораздо больше. Полянка была прямоугольной. Почти точно по диагонали ее пересекала ровная строчка лисьего следа.

Завороженный неожиданностью и красотой увиденного, я замер в трех шагах от чистого

пространства, не решаясь пересечь его такой ненужной для этого уголка лыжной. Спящий, покрытый пушистым, в ночь выпавшим снегом лес вокруг уютной полянки показался мне декорацией к зимней сказке. Не хватало только персонажа... И он появился.

На одной из стоящих поблизости пихт едва заметно шевельнулась ветка. В другое время и в другом месте такое легкое движение и не заметил бы. Но здесь оно насторожило, заставило затаить дыхание. И не зря.

Не успели легкие снежинки, слетевшие с ветки, достичь подножия дерева, как, обгоняя их, в сугроб под пихтой упал темный комок. В тот же миг приподнявшаяся и следом опав-

шая дорожка снега показала — под ним кто-то движется. И вдруг из-под снега появилась пестрая головка с загнутым клювом и красными бровками над черными бусинками глаз. Головка повертелась в разные стороны и исчезла. Рябчик! Приподнявшаяся и вновь опустившаяся полоска снега опять показала путь движения птицы и... все замерло.

Я осторожно, боясь, чтобы под лыжами не треснула какая-нибудь ветка, отступил по лыжне назад и, обойдя стороной сказочную полянку со спящим рябчиком, пошел своей дорогой. На душе было светло и празднично, будто лес доверил мне свою сокровенную тайну.

п. Верх-Чебула

Александр Легчило

ПЕРВАЯ ГРОЗА

В шесть часов у него свидание. Конечно, он может опоздать. Она все равно будет его ждать или позвонит. Познакомились вчера. Слава. Света. Она живет в общежитии в отдельной комнате.

- И вам не скучно одной?
- Скучно.
- Давайте скучать вместе.
- Я сегодня не могу.
- А завтра?
- Завтра? Завтра можно.
- В гости пригласили, а адреса почему-то не оставили...
- Я запишу вам.
- Далеко-то как! Если что, я лягу у порога и буду вас охранять. Ладно?
- Хорошо. Я постелю вам коврик...

...Он сходил в ванную почистил зубы, потом в коридоре почистил туфли. Стал одеваться. Долго не поддавался галстук.

За окном началась первая в этом году гроза с молниями. Капли стекали по стеклу — как мгновения в море вечности. В комнате потемнело. Он пристыл лбом к оконному стеклу. После очередной вспышки молнии он увидел: из голубого электричества детства к нему бежали двое и смеялись. Приближаясь, они менялись на ходу. И вдруг перед самым его сплюснутым носом оказались две скучные физиономии.

Слава. Света.

В шесть часов он развязал галстук. В полседьмого отключил телефон. Потом лег на диван и задумался.

Алексей Бабанин

ЧИСТЫЕ РОДНИКИ

У себя в деревне, на малой родине, я знал все родники в округе и из каждого в свое время пил.

Бывало, подгонишь коров к водопою и, пока они стоят по брюхо в воде, спасаясь от паутов, берешь две алюминиевые фляжки и бежишь к роднику. Дед Никандр, пастух, сидит где-нибудь в тени березы и ждет, когда я принесу воды. Я скатываюсь по крутой тропке к речке, где из-под берега бьет светлый ключ.

Родник этот я расчищаю каждый год, поэтому получилось небольшое углубление вроде корытца.

С утра, выгоняя стадо, мы набираем воду из другого родника, что прямо за селом. Но этой воды хватает только до обеда.

...Вот и родник. От него веет прохладой и каким-то умиротворенным спокойствием. На влажном камне сидит голубенькая трясогузка и кланяется, кланяется. Она косит на меня черным глазом и, свистнув свое «фю-ить», улетает к речке в тальники.

Воды я набираю во фляжки и, напившись, растягиваюсь на прохладной траве и смотрю в бесконечно глубокое небо. Слышно, как журчит малая речка. Это из нее образовался пруд, где сейчас стоят коровы.

Наверное, нет лучшего наслаждения, чем напиться в жару из ключа, а потом лежать вот так, запрокинув лицо к небу, и смотреть, смотреть...

Но нужно бежать. Встаю, беру с травы холodящие фляжки, отчего кажется, будто несишь ледышки, и карабкаюсь на берег. Наверху меня встречает полуденная жара. Коровы все так же стоят в воде, и дед Никандр сидит под той же березой, где я его оставил, а во мне такое ощущение, будто я уходил далеко-далеко и очень давно.

Дед Никандр берет из моих рук фляжку и делает несколько крупных глотков. Я слышу бульканье, и мне снова хочется пить.

С тех пор прошли годы, но я всегда с благоговением вспоминаю свои чистые родники.

Бывает, где-нибудь в дороге, в поезде, почувствуешь жажду, возьмешь газводы, нальешь в стакан кипящую пузырьками влагу, а жажда уже прошла.

И тогда снова и снова вспомнишь, что где-то в заросшем углу из-под берега бьет чистый родник.

И горько станет оттого, что с годами все труднее становится возвращение, все безнадежней.

г. Киселевск

Николай Сазанов

ИСКАТЕЛИ

(Человеческие грани металла)

Телеграмма из Набережных Челнов:

Новокузнецк, НКАЗ, Зорину.

*Благодарим за отличную работу по обеспечению
КамАЗа алюминиевыми сплавами...*

П. Б. Нижних,
заместитель генерального директора КамАЗа

С кем бы из алюминщиков вы ни завели речь о заводских делах, у вас обязательно спросят:

— А вы говорили с Белых?

Начальник технического отдела завода М. Я. Минцис:

—Эту тему надо начинать с Белых...

Главный инженер завода В. Г. Зорин:

— Не забудьте побеседовать с Белых. Он многое помнит, стоял, как говорится, у истоков...

Мастер-технолог опытного электролизного цеха М. С. Колесов:

— В литейном деле Белых был моим первым наставником. Хорошо бы вам с ним встретиться...

...Мы встретились. Василий Максимович показывает новое электролитное отделение второго электролизного цеха. Ничего похожего на прежнюю литейку. Здание в два параллельных пролета, в каждом свой подкрановые пути. Много света. Возвышаются миксеры для разлива алюминия. Издали они чем-то напоминают динозавров, как их рисуют на обложках

популярных журналов. Василий Максимович, однако, над таким сравнением посмеялся: миксеры—все-таки техника, и вдруг—какие-то там ископаемые. Да что поделаешь с первым впечатлением?..

Подходим к одной из индукционных печей, в которых готовят сплавы. Собственно, сама печь под полом; у наших ног лишь ее верхняя открытая часть—большой круг жидкого металла. Рядом на стене пульт управления и рупор-громкоговоритель—прямая связь с цеховой лабораторией, откуда литейщику, обслуживающему печь, непосредственно на рабочее место сообщают результаты анализов.

— В этой печке кашу ложкой не промешаешь,—смеется Белых и поясняет, что это делается с помощью высокочастотного магнитного поля. Вручную снимают только окисную пленку с поверхности металла.

В этот момент рупор вдруг заговорил, и литейщик, который стоял рядом с ним, поспешил на голос.

— Плавка готова, сейчас будут выливать,—

сказал Василий Максимович. — Давайте посмотрим.

Через минуту-другую большой квадрат пола, в середине которого светлело отверстие печи, стал подниматься и слегка наклоняться, как если бы это был кузов самосвала. Скоро показалась вся махина печи целиком. Внизу, в специальном углублении, уже ожидал ковш. Когда печь вместе с полом достаточно наклонилась, из нее ровно потекла в ковш не очень сильная струйка металла.

Василий Максимович Белых один из немногих, кто помнит рождение завода, первую выливку металла в январе сорок третьего. Вот что пишет об этом в книге «Сибирь — край алюминия» министр цветной металлургии СССР П. Ф. Ломако: «В морозную выжуную ночь на 7 января 1943 года молодые рабочие Володя Козловский и Вася Белых по команде начальника электролизного корпуса Г. В. Форсблома пробили летку и под горячие аплодисменты собравшихся выдали первый сибирский алюминий».

После ремесленного начинал Белых электролистом, был мастером, потом старшим мастером корпуса, а последние шестнадцать лет, вплоть до ухода на пенсию в 1976 году, старшим мастером электролитного отделения в первом электролизном цехе. На пенсию не ушел, не мог себе позволить. Остался работать электриком, но главные его должности — общественные: заместитель председателя заводского комитета народного контроля и председатель совета наставников завода. Однако должности должностями, а с литейным делом не порывает. Не случается такого дня, когда он не бывал бы в той или другой литейке. Приходит туда не гостем, его и встречают соответственно, как своего. В общем, неравнодушен Василий Максимович к литейным отделениям. И не потому только, что он сам как бы оттуда родом, а потому еще, что именно там держат марку завода. Стало быть, и глаз его там всего нужнее...

Было время, когда завод выпускал только один вид продукции — чушковой алюминий. В 1956 году освоили производство вайербарсов

— слитков квадратного сечения для проволоки, которые применяются в кабельной промышленности. С вводом новых мощностей в отчетах появилась очередная строка — силумин, сплав алюминия с кремнием. Но теперь это была скорее разминка перед стартом. В начале семидесятых на заводе отливали уже алюминиевые цилиндрические слитки нескольких типовых размеров, а в 1976 году предстояло освоить новый сплав.

В декабре 1975 года старший мастер первого литейного отделения Василий Максимович Белых и молодой инженер опытного электролизного цеха Михаил Станиславович Колесов, недавний выпускник Сибирского металлургического института, едут на Красноярский металлургический завод, где был накоплен большой опыт изготовления сплавов на основе алюминия.

Вызвав у красноярцев все что нужно, подбили итоги и получили у себя один плюс и один минус. Красноярские металлурги уже тогда располагали спаренными миксерами — каскадом из приготавительного и раздаточного устройства. Это, во-первых, служило определенной гарантией качества сплава, во-вторых, значительно повышало производительность литья. У Новокузнецкан подобного пока не было.

Первая же отливка оказалась удачной. Во всяком случае, внешне слитки выгодно отличались от красноярских. Все было бы хорошо, но через несколько месяцев выяснилось, что благополучные на вид слитки имеют внутренние трещины. Причину отыскивали скоро. В сплавах, которые делали в Красноярске, в качестве примеси содержался один дорогостоящий химический элемент. Новокузнецкане этот элемент не добавляли, поскольку он не входил в число основных компонентов. Пришлось срочно перестраиваться. Ввели добавки, построили спаренные миксеры, и в 1977 году изделия из нового сплава получили высшее признание, были отмечены государственным Знаком качества.

В это же время алюминщики получили первый почетный заказ — выпустить несколько новых видов продукции для КамАЗа. И хотя

сплавы сами по себе были достаточно простыми—тот же силумин с небольшими добавками легирующих компонентов, — дело пошло не сразу. Возникли трудности с разливкой. Отливали продукцию в виде чушек и поначалу никак не могли уложиться в требования ГОСТа, главным образом из-за шлаковых включений. Кроме того, чушки не имели товарного вида, его портила окисная пленка. Стара́ния литейщиков ни к чему не приводили. По всему было видно, что без серьезных теоретических исследований дело не сдвинется. Слово было за наукой.

—Работали над этой проблемой вдвоем с Алевтиной Ефимовной Вахриной,—рассказывает мастер-технолог Михаил Станиславович Колесов. Она тоже молодой инженер, литейщик, выпускница СМИ. Встал главный вопрос: с чего начинать? Документация довольно скудная, инструкции тоже не отличались полнотой. Но для молодого специалиста в подобной ситуации самое страшное—это обнаружить свою несостоятельность. Словом, быть или не быть...

Перелопатили мы тогда с Вахриной кучу литературы и поняли по-настоящему, как это полезно. Подобрали подходящий флюс—рафинирующий состав. При обработке флюсом образование шлака больше чем в полтора раза. Дефекты пошли на убыль.

Однако не подумайте, что мы с Вахриной оказались умнее всех. Считаю, просто повезло, что именно нам, молодым инженерам, поручили такое ответственное дело. Что касается работы с флюсом, то здесь наши искания постоянно направлял главный инженер завода Виктор Гаврилович Зорин. Сами литейщики тоже много выдумки приложили.

Во время наших поисков мы столкнулись с одним очень интересным явлением,—продолжал Колесов. — Вы когда-нибудь слышали, что некоторые сплавы обладают наследственностью?

— Не приходилось.

— Так вот, оказалось, обладают. Подобно живым организмам. Что это значит? Скажем, приготовленный из первичного алюминия сплав— а на заводе именно этим и занимаются —

имеет определенные свойства. Какие-то из них могут быть и нежелательными. А суть в том, что при последующей переработке сплава избавиться от этих свойств очень трудно, почти невозможно. Отсюда вывод: сплавы, которые готовят на заводе, не должны иметь отрицательных качеств,—заклучил Колесов свой рассказ.

Параллельно с исследователями опытного электролизного цеха и службой технического контроля поиск вели работники заводской химической лаборатории. При активной помощи главного инженера завода химии обзавелись пневмопочтой... В 1978 году ее ввели в действие в первом электролизном цехе, а в 1979 — и во втором. Пробы и результаты анализа стали доставляться быстрее на 20 минут. Как это происходит?

Литейщик отбирает пробу металла из миксе-ра или индукционной печи, закладывает в специальный патрон и опускает в приемный ящик. Срабатывает механизм, и вакуум с большой скоростью (до 60 км в час) гонит патрон по трубопроводу из литейного отделения в здание лаборатории. Через несколько секунд в приемном ящике лаборатории раздается щелчок-сигнал: проба поступила. К этому здесь давно привыкли, но когда сталкиваешься с пневмопочтой впервые, невольно вспоминается изобретенная фантастами «нуль-транспортировка»...

В лаборатории после недолгой обработки проба поступает в аппаратуру. Проходит несколько минут, и результат готов. Еще недавно при этом пользовались спектрографами, теперь на смену им пришли квантометрические приборы, и время анализа сократилось с тридцати минут до пяти, а для сплавов—с сорока пяти до семи. Но главное достоинство прибора—широта диапазона. Процесс почти полностью автоматизирован, лаборанту остается лишь ввести пробу в аппарат и записать результаты анализа со светового табло.

Все это сложное хозяйство с удовольствием демонстрирует начальник центральной химической лаборатории Николай Дмитриевич Зу-

дин. Для руководителя столь высокого ранга он сравнительно молод, но возглавляет лабораторию уже четыре года.

— Квантометры пока большой дефицит, — рассказывает Николай Дмитриевич, — и получить их стоило немалого труда. Правда, существуют подобные же импортные приборы. Например, квантометр американского производства вместо светового табла имеет печатающее устройство, и это, конечно, удобнее. Но он более тонок и капризен, менее надежен, и главное, слишком дорог — триста тысяч рублей, а с монтажом и наладкой — все четыреста. Это как раз двадцать наших...

— А сколько пришлось заплатить за монтаж и наладку этих приборов? — спрашиваю я.

— Ни копейки. Все сделали сами.

— Но здесь же сплошная электроника и оптика! Видимо, приглашали заводскую ЦЛАИТ?

— Не приглашали, — улыбается Зудин. — Немного инженерии плюс хобби...

Прошу его объяснить, при чем тут «хобби».

— Наш инженер Николай Александрович Найденев — специалист по автоматике. Слесарь Юрий Петрович Бедарев — радиолюбитель высокого класса, электронику знает тоже не понаслышке. А мне еще в институте приходилось иметь дело с оптикой. Вот и смонтировали. Работает, как видите.

Сегодня то и дело приходится слышать: «сами... своими силами... не приглашали...». Нередко там, где требуются серьезные инженерные знания, с делом великолепно справляется «простой» слесарь. И этим теперь никого не удивишь. То, что еще пятнадцать-двадцать лет назад расценивалось бы как случайность, в наши дни становится закономерностью.

На этом мои мысли прервал Николай Дмитриевич:

— Не хочу, чтобы у вас осталось впечатление, будто в лаборатории всегда и все шло гладко. Случалось всякое. С теми же квантометрами. Однако я просил бы вас поговорить с Майей Александровной.

...Тогда во втором электролизном готовили тот самый хитроумный сплав, о котором рассказывал Колесов. Принесли в цеховую лабораторию первую пробу. А там как раз устано-

вили новый квантометрический прибор немецкого производства. Работать на нем никто из лаборантов толком еще не умел, и анализами занималась заместитель начальника центральной химической лаборатории, она же начальник филиала на второй очереди завода, Майя Александровна Екимова.

— При анализе квантометр показал, что никеля в сплаве почти нет, — рассказывает Майя Александровна. — Звоню в литейное, чтобы добавляли никель. Приносят вторую пробу, снова нет никеля. Снова звоню Земскову — он тогда занимался этим сплавом, — чтобы увеличили добавки никеля. И так несколько раз. После третьей или четвертой пробы звонит уже Земсков: «Послушайте, мне кажется, мы делаем что-то не то. Валим и валим никель в печь, а в сплаве его нет. Куда он девается?».

Тут и меня сомнения стали одолевать. Решила проверить на спектрографе. Посмотрела и ахнула. Да что там ахнула, едва со стула не свалилась: никеля в сплаве уже раз в десять больше, чем нужно! Схватила трубку, руки дрожат. Земсков, как узнал в чем дело, взорвался. Человек он был горячий. «Что будем с металлом делать?!» — кричит. — Конец месяца, план режет, а вы там!..»

Однако скоро все успокоилось, остыли и принялись за дело. Понемногу, в несколько приемов, разбавили металл в миксере, и сплав получился вполне кондиционным. Никаких претензий не было.

— А что же с прибором? — спросил я.

— Не отлажен был как следует. Потом его наши умельцы отрегулировали, стал работать нормально... Вот уже двадцать девять лет я на заводе, — продолжала Майя Александровна. — Старожилы у нас уже мало осталось. Мария Дмитриевна Байдаева, начальник участка химических методов анализа, пришла на завод в конце 1942 года, совсем девчонкой, лаборант Елена Павловна Абликеева — в 1945 году. Вспоминаем иногда бывшее. Однако самые трудные, но и самые интересные, пожалуй, последние пять лет. А все сплавы для КамАЗа. Я бы сказала, КамАЗ в какой-то мере нас подтягивает. Заставляет держать уши на макушке...

...КамАЗ, конечно, «подтягивает», но главное в другом. Одиннадцатая пятилетка наряду с новыми оставляет и задачу повышения эффективности и качества работы. И здесь у алюминщиков есть неплохой задел. В 1980 году выпуск аттестованной продукции достиг относительно общего объема—99 процентов. 13 видов аттестовано по высшей категории качества, 15—по первой. Более 70 процентов всей продукции завода отмечено почетным пятиугольником—государственным Знаком качества. Пока это некоторый конечный результат, но отнюдь не предел. А деятельность каждого предприятия оценивается именно по конечному результату, и это, разумеется, справедливо. Только всегда надо помнить, что за итогом стоит труд большого коллектива людей, повседневная черновая и нередко тяжелая работа.

...После смены Григорий Никифорович Дудка зашел к старшему мастеру. Рабочий день близился к концу. Василий Максимович Белых отодвинул бумаги, которые перед тем внимательно рассматривал, взглянул на часы, потом на Григория Никифоровича.

— Чего домой не идешь?

Дудка сидел, ссутулив широкие плечи, дымил папирсой и молча смотрел в угол. Так прошло минут десять. Старший мастер знал, о чем думает и почему молчит литейщик Дудка. Знать-то знал, а вот помочь пока ничем не мог. Ну, а коли так, то и говорить не о чем.

— Ладно, пойду,—поднялся Григорий.

— Не получается?—не удержался Белых.

— Не идет. Обмерзает поплавок. Не слитки—гармошка. Хоть плюнь.

—Плюнуть можно. Ты плюнешь, я плюну. Потом начальник цеха. А дальше?

— А что мы можем? Институт в толк не возьмет, наши специалисты тоже...

—Ты сколько лет в литейке, с шестьдесят первого? Значит, больше десяти. Все на твоих глазах было: какие механизмы придумали, как оснастку усовершенствовали. Чужой дядя со стороны не помогал. И думали не только инженеры. Слесаря да литейщики тоже не отставали. Сам знаешь.

— Оно так,—согласился Дудка.—Да вот не придумывается что-то...

— А ты секретарь парторганизации, вот и настраивай народ мозгой шевелить. Рабочий к делу ближе всех стоит, ему много видно.

Цилиндрические слитки в первом электролитном отделении начали отливать диаметром 145 миллиметров. При этом использовали те же полавки, что применялись и при литье вайербаров. Слитки получались с неровной поверхностью, с «пережимами». Увеличили скорость литья, и внутри слитков появились трещины. Потом несколько изменили конструкцию полавки, и все отрегулировалось. Вскоре начали отливать слитки и большего диаметра. А вот теперь принимали муки с 295-миллиметровыми.

Григорий Никифорович понимал и видел, что вся причина—в полавке. Полавки—это такое устройство, с помощью которого поддерживается определенный уровень металла в кристаллизаторе. Он потому так и называется, что плавает на поверхности металла. В полавке проделаны отверстия, через них жидкий металл поступает к стенкам кристаллизатора и застывает. В центре полавки имеет выступающий вверх конус. Когда уровень металла в кристаллизаторе оказывается выше, полавки поднимается, закрывает конусом носок литейной чаши, и поступление металла сокращается. Снижается уровень металла, опускается полавка, металл снова поступает в кристаллизатор.

Вот в этом-то, казалось бы, нехитром устройстве и была зарыта собака. Устройство само по себе действительно нехитрое, когда бы дело касалось не расплавленного металла, который, как известно, отличается нравом крутым и капризным.

Через несколько дней после разговора с Белых, Григорий Никифорович, отработав последнюю ночную смену, не пошел со всеми в мойку, дождался, когда все разойдется, схватил ломик и отправился отдира́ть жестяную крышку от старого стола, который приметил еще вчера.

От людей в цехе не скроешься. Когда с листом жести в руках шел в мастерскую к ме-

ханикам, чтобы пробить отверстия, его увидели знакомые ребята из утренней смены.

— После горячей работы добрые люди идут пивком побаловаться, а этот, глядите-ка...

— Это он по совместительству кровельщиком подрабатывает...

— Куда ему кровельщиком? В нем, поди, добрых двести кило. Никакая крыша не сдюжит...

— Да нет, Григорий Никифорович задумал такое объявление написать, чтоб вечно служило. На железе...

Дудка только рукой махнул.

Часа два провозился с жестью, выкроил и выгнул тарелку не тарелку, а что-то вроде поплавок. От непривычной работы устал, да и ночная смена сказывалась. Припрятал поделку в надежное место и пошел в душевую.

После выходного рассказал обо всем своему напарнику Владимиру Петровичу Ипполитову. Тот не так чтобы очень поверил в затею, но помочь товарищу не отказался. Поплавок несколько измененной по замыслу Григория Никифоровича конструкции доводили вдвоем. Оставались после работы или выкраивали час другой в спаренную смену. Наконец отладили, отгладдили, обмазали глиной—готово. Доложили по начальству. Без скептиков никакое дело, известно, не обходится. Кое-кто встретил затею с поплавком в штыки. Но первым вступился за своих литейщиков мастер Вячеслав Васильевич Еськов. Поддержал и Василий Максимович Белых:

— Испыток—не убыток. Идея правильная, надо пробовать.

Поставили новый поплавок, начали лить. Григорий Никифорович держался спокойно, уверенно действовал, хотя внутри все напряжилось: металл есть металл, попробуй угадай, как он себя поведет...

А металл повел себя на этот раз послушно. Когда слиток был готов, у Григория Никифоровича сразу даже как-то ноги ослабели. Но скоро уже казалось, что так оно всегда и было: и поплавок никогда не обмерзал, и слитки шли всегда вот так же, как теперь...

Пришел начальник цеха, потом главный инженер завода. Смотрели, расспрашивали, хва-

лили за сообразительность. А друзья-литейщики выражали одобрение по-своему:

— Ну, ты и даешь, Никифорыч!

Вот это-то и было, пожалуй, дороже всего.

Потом поплавок такой конструкции использовали на литье цилиндрических слитков диаметром 360 и 505 миллиметров. Они исправно служат и по сей день, применяются и на других заводах.

Тогда за два года Григорий Никифорович Дудка подал пять (включая поплавок) рационализаторских предложений по совершенствованию литейной оснастки. Теперь сам удивляется: как волна какая накатила. Придумал приспособление для регулирования уровня металла в чаше, потом способ футеровки поплавков для литья слитков диаметром 360 и 505 миллиметров, приспособление для зачистки и снятия шлака из миксера. В 1974 году предложил оригинальное изменение поддона цилиндрических слитков. Больше тогда не успел... Помешала заграничная командировка.

С той поры прошло больше семи лет. Григорий Никифорович успел за это время побывать в Египте, участвовал в пуске алюминиевого завода, готовил литейщиков. Провел там два с лишним года. О своих впечатлениях рассказывает скупно.

— О достопримечательностях говорить нечего. Все давно известно.

А запомнились больше всего люди. Учились у меня феллахи. Очень любознательный народ и цепкий, с хорошей памятью. Теорию освоили неплохо, оборудование, оснастку, инструмент. Считай, готовые литейщики. А когда пошла первая струя горячего металла, сыпанули в разные стороны, и след простыл. Насмерть перепугались... Потом привыкли понемногу.

В январе 1978 года Григорий Никифорович вернулся на завод, в свое литейное. Вскоре его назначили бригадиром. Коммунисты литейного отделения много лет подряд избирают его секретарем партийной организации, самой крупной первичной организации в цехе. А народ о нем так отзывается:

— Сам работает—позавидуешь. Значит, и с других спросить может. Имеет право...

Только строже всего спрашивает он с себя.

...Начальник конструкторского бюро Рудольф Николаевич Боровский проснулся как всегда в половине седьмого. Не сразу сообразил, что сегодня суббота. Настроив на выходной день как-то не чувствовалось. И не потому, что вместо лыжной прогулки приходилось бежать на завод, просто в голове засел этот проклятый колодец, с которым надо было что-то делать. Собственно, что делать, это уже ясно.

Рудольф Николаевич еще вчера решил, что с основной задачей справится один и никого из работников бюро в выходные привлекать не станет. Одному даже лучше: никто не мешает думать.

Совещание у главного инженера завода было недолгим. Начальник производственно-технического отдела, он же заместитель главного инженера, Виктор Константинович Марков, начальник проектно-конструкторского отдела Дмитрий Алексеевич Ивойлов и начальник КБ Боровский вышли на совещание с готовым предложением. Надо было уточнить детали и договориться, кто, что и в какие сроки должен делать.

С января 1981 года предстояло начать литье цилиндрических слитков (диаметром 190 миллиметров) из нового сплава.

Как известно, всякая продукция должна удовлетворять определенным техническим условиям и стандартам. К слиткам из нового сплава предъявлялись особо жесткие требования: кривизна поверхности на один погонный метр слитка не должна превышать трех миллиметров. Такой высокой точности на существующем оборудовании литейщики второго электролизного цеха добиться не могли. По этому поводу и созвал совещание главный инженер.

— План по цилиндрическим слиткам на 1981 год нам увеличили почти вдвое,—подвел итог главный инженер.—На первом этапе—а он очень короткий, два дня,—дело за конструкторами. Давайте ваши соображения.

Предложение Ивойлова, Маркова и Боровского обсудили и приняли. Это было в пятницу, 28 ноября, а сегодня Боровский шел на завод, потому что за первый этап отвечал прежде всего он.

Дорога на завод неблизкая, о многом можно успеть передумать. Рудольф Николаевич вспомнил первые дни после пуска нового электролизного отделения во втором электролизном. Приходит как-то в цех, ищет начальника. Тот куда-то исчез, и никто не знает — куда. Не нашел и двух его заместителей. Прошел по всем корпусам и службам — нет. Наконец, добрался до литейного отделения, где и обнаружил всех троих. Правда, узнал их не сразу. Начальник цеха Борис Максимович Симбирцев, его заместитель по производству кандидат технических наук Геннадий Абдулович Сиразутдинов и заместитель по оборудованию Владимир Макарович Беликов, облачившись в спецовки, как заправские литейщики, самолично льют цилиндрические слитки. Первые цилиндрические!

Боровский не удержался от подначки:

— Что, в рядовые разжаловали?

В ответ молчание. Оно и понятно: заняты люди—не до праздных разговоров.

Но Боровского так просто не собьешь:

— Цехом надо руководить, людей учить, а вы чем занимаетесь?

— Чтобы учить, надо уметь,—отпаривал Симбирцев.

— Ну, а кандидату это зачем?—не унимался Боровский.

— А я как раз и сдаю кандидатский. В программу включили. Сразу видно, далекий ты от науки человек, — пошел в контратаку Сиразутдинов.

Рудольф Николаевич долго еще стоял и смотрел, как управлялись у литейных машин большие начальники. А те как будто всю жизнь только этим и занимались.

«Наверняка не в первый раз,—решил Боровский.—Уж больно здорово получается. Не иначе, раньше тренировались, такие-сякие... А в общем молодцы. Эти научат...».

...И вот теперь во втором электролизном надо было отливать из нового сплава слитки почти идеальной прямизны. При шестиметровой длине задача нелегкая. Льют эти слитки на подвесных литейных столах в специальных бетонных колодцах. Глубина колодца почти десять метров, уходит он в водоносный грунт.

И хотя установка направляющих, по которым вниз-вверх движется литейный стол, выверялась по отвесу с точностью до одного миллиметра, они подвергались некоторой деформации. Чтобы уменьшить кривизну отливаемой колонны, нужно было всю конструкцию сделать более жесткой.

Марков, Ивойлов и Боровский еще раньше обсуждали эту проблему, как говорят, в рабочем порядке и сошлись на том, что в колодце нужно установить дополнительный цилиндрический ствол и соединить его с существующим поясами жесткости.

Сегодня Боровскому предстояло все это «прорисовать».

Работа в выходной день для конструктора не в диковинку. Случается, так подопрет, что день минутой оборачивается. Как тогда, в 1978 году, с миксерами...

Боровский уже толкнул дверь, когда его остановил телефонный звонок. Секунду подумал, брать или не брать трубку. Выдался редкий день, свободный от общественных дел, и он рассчитывал попасть домой вовремя. Все-таки вернулся, снял трубку.

Звонил начальник отдела Дмитрий Алексеевич Ивойлов:

— Рудольф Николаевич, загляни на минутку.

«Теперь засядем,—решил Боровский.—Шеф по пустякам беспокоить не станет».

— Что-то порисовать захотелось,—встретил его Ивойлов.—Если не очень торопишься, присоединяйся.

— А что рисовать будем?—поинтересовался Боровский.

— Как что? Арочный свод.

— Готовые есть. Целую кучу могу принести.

— Не годится. Мы будем рисовать несуществующий свод.

«Темнит Дмитрий Алексеевич. Что-то задумал или уже придумал...»

— Как бы ты расположил нагревательные элементы миксера, так сказать, в идеале? Чисто теоретически, без всякой привязки?—спросил начальник отдела.—Вот бумага.

Рудольф Николаевич взял листок и задумался. Думал недолго. Оборудование литейных отделений он знал, как вещи в собствен-

ной квартире, и сразу догадался, чего хочет от него Ивойлов. Несколько штрихов—и готово.

— А как их закрепить практически?—продолжал нажимать Ивойлов.

В голове у Боровского словно бы замкнулся какой-то контакт. Вспомнились разговоры с литейщиками, неясные прежде мысли обрели вдруг материальную форму. Он снова взял листок и начал быстро рисовать. Изобразил арочный свод, но тот был как-то сдвинут и выгнут одной стороной книзу.

— А теперь докажи, что это невозможно,—сказал Ивойлов.

— Что-то не хочется...

— И мне не хочется!—довольно рассмеялся начальник отдела.—Будем считать, что сегодня мы изобрели нечто...

— Вроде велосипеда?—вернул Боровский.

— Не исключено. Да это неважно, лишь бы ехать...

— Без Максими́ча эта телега нас не повезет.

— А мы втроем и поедем. Завтра все как следует нарисуем, позовем Белых. Посмотрим, что он скажет.

Назавтра пригласили Василия Максимовича Белых, положили перед ним рисунок. Тот долго его разглядывал, крутил бумагу и так и сяк.

— Ну, чего тянешь?—не утерпел Боровский.

— Значит, поломали симметрию,—не то спросил, не то подтвердил Белых.—У меня тоже маячило что-то, а вот нарисовать как у вас, не сумел бы...

— Значит, одобряешь?—спросил Ивойлов.

— Он еще спрашивает!—удивился Белых.—Вот только миксер надо делать с продольным расположением окон...

Втроем просидели часа полтора, разошлись, когда не осталось ни одного неясного вопроса.

Так родился миксер с асимметричным арочным сводом, пока вчерне, на бумаге, но руководители завода верили в союз конструкторов с литейщиками, разрешили экспериментировать и не боялись рисковать, когда это было необходимо. «Союз» не подводил...

Из-за возрастающей доли сплавов в продукции завода пришлось увеличивать емкость

миксеров для разливки алюминия, потому что старые конструкции не обеспечивали нужного качества сплавов и достаточной производительности. Белых с Ивойловым побывали на Богословском алюминиевом заводе, где применялись миксеры с арочными симметричными сводами. Потом разработали собственные чертежи и опытный свод сделали на третьем миксере в первом электролитном отделении. Симметричный арочный свод служил хорошо, и миксер простоял без ремонта около четырех лет. Но когда начали применять такие своды на миксерах увеличенной емкости—тридцатитонных,—дело не пошло: нагревательные элементы были слишком удалены от поверхности расплава и не обеспечивали прогрева всей толщи металла в ванне миксера, что вызывало повышенный «угар» металла, большие теплотери и перерасход электроэнергии.

Белых, Ивойлов и Боровский пришли к мысли: чтобы нагревательные элементы были максимально приближены к поверхности расплава, надо поломать геометрию свода, сделать его асимметричным. Поняли они друг друга с полуслова и, когда встретились, сразу заговорили о деталях.

Ознакомившись с предложением «союза», главный инженер завода дал задание срочно

готовить рабочие чертежи нового миксера. Но прежде чем приступить к реконструкции, надо было выполнить еще одну работу: установить, «велосипед» они изобрели или все-таки что-то другое. Подготовили заявку, направили ее в ВАМИ. Там провели патентный поиск и аналогов не обнаружили. Подобные конструкции встречались только в строительном деле, но никак не в металлургии. Направили заявку в комитет по делам изобретений и открытий. Изобретение было защищено авторским свидетельством.

Сейчас Николай Васильевич работает на ремонте печей. Он не просто их ремонтирует, он постоянно добивается, чтобы они стали более долговечными, чтобы дольше служили без ремонта, и всегда ищет способ, как это сделать.

...Слесарь придумывает хитроумные машины. Слесарь настраивает электронную аппаратуру. Один литейщик изобретает приспособление, требующее солидной теоретической подготовки. Другой пользуется подвернувшейся возможностью, случаем, вгрызается в формулы и тут же применяет их в работе... Союз науки и практики? Нечто большее. Не просто союз—слияние, сплав, новое качество. Чудесный сплав научно-технической революции с преимуществами социализма.

г. Новокузнецк

1980—1981 гг.

Константин Андреев

ФОРШТАДТ

БЫЛЬ

Тех, о ком я пишу, уже давно нет в живых. Отзвенело их время, и они отзвенели вместе с ним. Вот ведь как получается: я размениваю свой шестой десяток, а Болонкин умер в пятьдесят лет, и его сын Геннадий погиб в двадцать. Такое ощущение, что я вроде бы старше их, хотя, будь они живы, Петру Болонкину было бы что-то около девяноста, а Геннадию лет под шестьдесят.

Но их нет, а я их помню. Я помню свою мать и теток, ее сестер. Перед моим взором встает отец — с артистической внешностью и выразительными жестами, преданно мечтавший о театре, зараженный тоской о нем до самого последнего своего дня. Я еще и теперь не могу понять, почему он не стал профессиональным актером, что помешало ему! Некогда было думать о подмостках или, как еще говорят, не время! В первую мировую войну — на фронте, в гражданскую — тоже. События отодвигали мечту все дальше.

Или все проще: отец оказался неудачником, не смог, не дано ему было осуществить мечту! Все может быть, но что бы там ни было, отец сделал свое дело — как умел, насколько хватило сил. И ушел. А я остался за него и тоже делаю свое дело.

Матери было за семьдесят, когда я в каком-то разговоре — теперь уже и не вспомнить о чем — спросил:

— Старшно это — стареть!

Она внимательно посмотрела на меня и ответила:

— Это неизбежно.

Мать приняла свою старость со спокойной душой. Не первая, и не последняя. Она устала. Сгорбилась, даже, пожалуй, усохла, а от роскошной русской косы остался жидкий пучок седых волос, который она складывала в аккуратный узелок на затылке.

Когда-то роговец, собираясь полоснуть ее шашкой по шее, крикнул:

— Девка, убери свою красу!

«Девку» ему было не жалко, а вот коса...

А может, все проще: шашку тупить не хотел.

Я учился в третьем или четвертом классе, и коса у матери еще была. Любо было смотреть, как мать расплетает ее, берет в руки массивный гребень и расчесывает. Потом встряхивает головой, убирает волосы за спину. Они капризными волнами, тускло переливаясь, падают на плечи. Мать казалась мне необыкновенной красавицей.

Она рассказывала, что тогда, повернувшись спиной к своей смерти, машинально, плохо отдавая отчет в том, что делает, убрала косу на грудь. Вся напряглась, ожидая жуткой, нестерпимой боли. Но вдруг сзади раздался еще один голос:

— Эй, земляк, а ну охлони!

Ее сильно толкнули, и она упала лицом в снег. И все еще сжимала косу, ожидая сабельного удара.

— Ты что, земляк! — сердито разносился все тот же голос. — Девка наша, учительша...

— Тебе бабью голову жалко. Смотри — добрый! — Роговец сорвался на визг, глаза налились кровью, папаха съехала на затылок, выпустил на лоб слипшиеся от пота волосы: — Ишь, заступник!

— Охлони, говорю, земляк! — Человек на гнедой лошади угрожающе расстегнул кобур револьвера.

— Я-то охлону, мне плевать! Мне — ништо! — Роговец начал пятиться, настороженно следя за рукой на кобуре. — Брось баловать! Я до самого дойду, до Рогова...

— Валяй, не шибко боязно. А девку не тронь!

Всадник соскользнул с седла, склонился над матерью и потянул ее за плечо:

— Да ты жива ли, Алексеевна!

И тут мать, медленно поднимаясь на колени, зарыдала. Ее тряс озноб. И рука с судорожно зажатой косой тоже билась как в ознобе.

Всадник помог ей встать, и она уткнулась лицом ему в расстегнутый ворот мохнатого полшубка.

— Ну, ну, — погладил он ее по спине. — Чего уж теперь... Отцу поклон передавай. Мол, Сопрыкии Родион кланяется...

Так было. Давно было. Однажды я собрался и поехал в старую часть города, сохранившуюся под горой. Сначала трамвай перевез меня по мосту через реку, одетую в ледяной панцирь, прикрытый сверху снегом, потом за окнами потянулась тополиная роща.

Печальное зрелище эта роща. Тополя умирают, чего-то им вдруг стало не хватать в земле. Росли когда-то высокие стройные молодцы, одевались летом в зеленые кафтаны... И вот теперь падают, будто рубят их под корень, — истратившие силу, неживые.

Но стоит деревьев еще немало — голых, с почерневшей от старости и непогоды корой. И среди них, в глубине рощи, виднеется их ровесник — не теперешней постройки дом. Сейчас здесь санаторий, а когда-то жил царский генерал, забившийся в глушь, с глаз подальше, после неудачных порт-артурских битв.

Об этом генерале я еще успею сказать. Пока же трамвай вывозит на гору, я вижу церковь с грязными облезлыми стенами. Вернее, бывшую церковь. А в памяти она — как лебедь с колоколами, с крестом на маковке.

...Умерла наша бабушка, мамина мать. Она лежала в гробу посередине комнаты — строгая, внушавшая моему детскому сердцу страх.

Кто-то из взрослых послал нас с сестрой в церковь за свечами. Мы вошли под окутанные полумраком своды, и вдруг передо мной встал в черной рясе поп. Он показался мне великаном — с окладистой бородой и насупленными густыми бровями. Его голос гулко загредел под сводами.

— В храм божий в головном уборе входить не положено.

Я посмотрел на попу снизу вверх, на все его великанство, ничего не понял и заплакал. Тюбетейку с моей головы сдернул уж он сам.

...Трамвай остановился. Я вышел. Церковь кажется сейчас совершенно лишней на площади. Двигается поток автомобилей по широкой улице с почерневшими от копоти сугробами по бокам, совсем близко подступает девятиэтажный дом, похожий на огромную спичечную коробку. Рядом еще дом, но уже в пять этажей, растянувшийся на полквартила. В нижнем этаже магазин. В витринах — пирамиды консервных банок, на картинках — разная снедь.

До церкви какая-нибудь сотня шагов. Сотня шагов в прошлое! Когда-то она была главная на площади. Утопала в зелени, непорочно белела стенами. Теперь ее хотят реставрировать и открыть стилизованный под старину ресторан. Название будто бы придумали — «Крепость». Пару веков подряд здесь служили молебны во здравие и за упокой, ползали на коленях перед образами, вымаливая каждый свое. Теперь будут пить — во здравие, а может и за упокой.

Всему свое время. Время жить и время умирать, время любить и ненавидеть, и время... вспоминать, оглядываться на бывшее, всматриваться в него.

Подгорную часть еще и теперь называют Форштадом. А тех, кто там живет, форштад-

скими. Так и говорили: «Вон, форштадские пошли...» Название из семнадцатого века, когда на горе построили крепость, а под ее стенами селился разный люд, пришлый по своей воле или пригнанный силком. Мои предки пришли с устья далекой северной реки Яны. Поэтому и фамилия — Устьянцевы.

Тот дом, в котором обитали последние поколения Устьянцевых, все еще живехонек. Он покосился, сдвинулся верхними углами вперед. С крыши, одетой в снежную шапку, свисают длинные сосульки. Дом похож на старика, едва подковылявшего до тесного палисадника. Дальше ему не сделать и шага. Шагнет — и ляжет костыми-бревнами. Рассыплется. Всего было на веку — и радости, и печали.

Я не помню, чтобы мать привозила нас с сестрой сюда зимой. Обычно это происходило летом, в каникулы, когда она не была занята в школе. Мы приезжали погостить на какие-то считанные дни. Я не любил, боялся тогда еще крепкого дома. Он навевал необъяснимую тоску. Даже в те годы, когда я уже учился, начал подрастать и в чем-то разбираться, когда меня так просто букой было не запугать. Это настроение складывалось из отдельных картин, виденных мной, из каких-то рассказов взрослых. Что стояли одни похороны бабушки!! Я долго был под их впечатлением. Мне чудился запах ладана и горящих восковых свечей, заунывное пение старух. А поп-великан из церкви превращался в моем воображении в грозного колдуна.

В палисаднике вымахали выше крыши тополя, загородившие дом от улицы. По ночам, особенно перед грозой, ветер налетал на них, я вслушивался в неистовый шелест густой листвы. Мне казалось, что еще миг — и произойдет нечто ужасное, и не спасут ни окна, ни ставни, плотно прикрывшие их.

Но однажды это мое настроение было рассеяно появлением Петра Александровича Болонкина. Приехал он не один, а с женой, Глафирой Алексеевной, — родной материнной сестрой, и сыном Геннадием, который был старше меня на несколько лет. Тетку я увидел впервые и сразу же начал сторониться, недолюбливать. Я заметил, что и мать разгова-

ривает с ней сдержанно, не очень-то жалует ее, держащую на губах усмешечку, поглядывающую на все свысока.

Каким был в ту пору Геннадий, я почти не помню. Я его не мог заинтересовать. Куда там — малышня, шпингалет, хотя и сам-то он учился еще в пятом или шестом классе. В памяти сохранились гладкие волосы, скобкой подстриженные на лбу, брюки, подхваченные на застежки ниже колен. Он сразу же нашел себе на улице ровесников и стал водиться с ними, исчезая из дома.

А Болонкин покори́л — стройный и сильный, в серой коверкотовой гимнастерке, перетянутый широким командирским ремнем. Я быстро отыскал в нем сходство с Чапаевым. Острый, пронзительный взгляд, стремительная походка. «Чапаева» я видел не менее десятка раз, при каждом удобном случае стараясь попасть в кино. Я только немного жалел, что Болонкин не отрастил усы; носит такую же цветом, как гимнастерка, фуражку вместо папахи. По моему убеждению, ему очень недоставало и шашки, которая бы билась при ходьбе о бок.

Однако все это перекрывалось одним понятием — красный командир! Мне было неважно, что он уже не в армии, давно не служит. Меня захватывало другое: Болонкин — бывший балтийский матрос с минного заградителя «Амур», штурмовал Зимний, командовал военным пароходом на Волге, потом полком. Этот полк в 1919 году вошел в городок, укрепил Советскую власть.

Почему-то осталась, никак не выходит из головы такая картина. Болонкин стоит на крыльце, крепко, по-матросски расставив ноги. Душный летний вечер, сумерки все сгущаются, ложась тенями на углы домов, запутываясь в ветвях тополей. По улице только что прогнали стадо коров. Их уже разобрали по дворам, торопились подоить, и в тишину то и дело врывается со всех концов звон упругих струек молока, бьющихся в металлические бока ведер.

— Ну и деревня! — воскликнул Болонкин. — Осатанеешь!

— Что же ты хотел!! Все в прошлом, — от-

вѣтила мать. Она сидела на нижней ступеньке крыльца, укутав в подол платья колени. Между пальцами правой руки дымилась папироса. Поднесла ее ко рту и с удовольствием, аппетитно затянувшись, упруго выпустив дым через сложенные трубочкой губы.— Я тоже не люблю. Уныло, скука душу гложет.

— Потому, что отвыкла,— назидательно проговорила старшая материна сестра — искусная портниха, обшивавшая чуть ли не всех городских модниц.— Отвыкла,— повторила она, помолчав, и добавила:— По мне так лучше и не надо.

— Привыкла,— в тон ей ответила мать.— Ты привыкла, я отвыкла. Да и воспоминания...

— Что ж теперь!! Было и прошло. Родились, росли. Мало ли! Плохо и хорошо — всяко было. А стены — родные.

— Всяк кулик свое болото хвалит,— рассмеялся Болонкин.

Тетка примолкла, но тут же справилась с собой.

— Айда за стол, Петр Александрович! Нина, бросай папироску!

Это она так на мать — Нина! По праву старшей, по праву хозяйки, принимающей гостей запросто, без церемоний.

В Кузнецке мать делалась задумчивее, все старалась куда-то стойти, затаиться, и чтобы никто не мешал, не трогал. Много курила. Смотрела вдаль сквозь сизые клубы табачного дыма, и непонятно было, что там видит, какие картины встают перед взором, какими грезами тешит или, наоборот, тиранит себя! Я только чувствовал, что подходить к ней в эти минуты не надо, и почему-то очень жалел ее.

Мне было бы трудно представить мать в 1919 году, если бы не фотография. В семейном альбоме хранилась отличная карточка, где мать стояла во весь рост — юная и счастливая. Коса, перекинута на грудь, спускалась ниже пояса. Все-таки замечательно украшала коса русскую женщину! Недаром про косу и песни пели, и стихи слагали. Жаль, что она так незаслуженно вышла из моды. Порой

кажется, что вместе с ней наши женщины утратили какую-то очень дорогую и неповторимую частичку национального достоинства, частичку истинного обаяния, воспетого еще в былинах.

На фотографии, правда, другая дата — не девятнадцатый, а шестнадцатый год. Но три года — разница невеликая, тем более для молодой девушки. Мать окончила гимназию, губернские курсы народных учителей и собиралась ехать в большое таежное село, километров за двадцать от уездного городка, как тогда говорили, учительствовать. Сеять разумное, доброе, вечное...

Перед отъездом и зашла к фотографу. С надеждами, радостными предчувствиями. Как хмель туманил голову мечты. По этим мечтам через три года и примерялся рубануть шашкой роговец. За матерью всего было и вины, что заступилась за отца Гавриила — безобидного, тихого попики, учившего ребятшек в школе закону божью. Ворвавшись в село, пьяные роговцы прежде всего решили рассчитаться с попом. Как-никак религия — дурман народа.

Мать заступилась и чуть не осталась без головы. Она рассказывала, что долго потом не могла повернуть шеей, все время чувствовала тяжесть, что-то давило сзади на шею, сковывало. И часто она ловила себя на том, что боится закинуть косу за спину.

В этот же день сразу после столь неожиданного спасения, еще не пришедшую вполне в себя, ее увезли в Кузнецк. Проворный крестьянин, отец ее ученика, запряг лошадь в розвальни, велел завернуться в тулуп и ложиться. Сверху прикрыл копной сена. Так, мол, надежнее...

Она не видела, что Форштадт, утонувший в сугробах, притих, насторожился. До нее доносился скрип полозьев о снег, нетерпеливое понуканье доброго возницы, пустившегося ради нее в дорогу в столь неспокойное время. Потом сани остановились, близко таякнул пес, мать по голосу признала его и обрадовалась: приехала! Крестьянин столкнул с нее сено, она сбросила тулуп и устремилась к калитке, даже забыв поблагодарить. Впрочем,

он не обиделся, пригрозил лошади кнутом, стараясь поскорее отъехать от дома, снова рассудив, что так, мол, надежнее...

А в доме плескалось горе. Моя бабушка, материна мать, протянула навстречу руки и скорбно воскликнула:

— Доченька!

Отец встал из-за стола, застланного светлой скатертью, в глазах зажглись огоньки, но с лица не сошли озабоченность и печаль. Старшая сестра Анфиса и младшая Глафира только повернулись, изображая удивление. Впрочем, между сестрами давно не было тепла. То ли зависть, то ли женское соперничество...

— Доченька!— снова воскликнула бабушка,— беда-то, Павла, ироды, убили...

Мать сдернула с головы пуховую шаль и, волоча ее за собой, едва дошла до широкой кровати, стоявшей в углу. Устало опустилась на нее, оглядела всех и зарыдала—безудержно, вздрагивая всем телом.

Павел — двоюродный брат. Служил он коном у того самого генерала, дом которого доживает свой век в Топольниках. По Кузнецку ползли слухи, что роговцы схватили Павла вместе с генералом, что оба они приняли лютую смерть. Генерала вроде бы даже распилили пилой. Усердствовал при этом омский кондитер, выбравший себе в матери анархию. Была у него не то фамилия, не то кличка — Оголец. Говорили, ходит пьяный, обвешанный оружием. Мать сразу вспомнила своего злодея, лихо срубившего голову с тощей шеи отца Гаврила. Ей казалось, что это и есть тот самый Оголец.

Дальше события развивались так. В город вошел 312-й полк пятой Красной Армии. Болонкина удивила тишина, какая-то похоронная скорбь, царившая над улицами. Будто чума гульнула. Встретившие Болонкина ревкомовцы пояснили:

— Роговцы постарались.

— Где сам Рогов?

— Утек. Давно след простыл. Остались его помощнички. Оголец и Кузнецов. Людей у них не больше взвода. Гоняют по уезду. Грабят.

О том, что происходило в Кузнецке, Болонкин знал еще в дороге, когда полк ускоренным маршем двигался от села к селу, сшибая разрозненные отряды колчаковцев, не успевшие откатиться вслед за «верховным правителем» к Иркутску. С последней железнодорожной станции он послал анархистам телеграмму: «Прекратить казни и грабежи. Будете отвечать!»

Выходит, не послушались анархисты. Вот тебе анархия — мать порядка!

Болонкин приказал арестовать Огольца и Кузнецова. Их обоих привели к нему в дом, когда-то принадлежавший ссыльному поляку Красимовичу.

— Как генерала распиливали!

Оголец сник, опустил опухшее от пьянства лицо. Кузнецов оказался похрабрее.

— Ты нас, матрос, отпусти. Рогов тебе не простит.

— Не пугай! — твердо отрезал Болонкин и приказал обоих расстрелять. У двадцатитрехлетнего балтийского матроса рука оказалась тяжелой.

Я не знаю, сколько в тот самый первый раз Болонкин пробыл в Кузнецке. Во всяком случае, недолго, но и достаточно для того, чтобы познакомиться с Глафирой Алексеевной, которую, конечно же, тогда еще никто по отчеству не называл. Она и до восемнадцати не дотянула. Однако сумела понравиться удачливому красному командиру, вдруг получившему приказ отобрать в полку лучших бойцов, экипироваться и следовать в Якутию — вдогонку все за теми же недобитыми колчаковцами.

В нашей семье жива история о том, как однажды, в морозный зимний вечер, девушка в высоких зашнурованных ботинках, в модном пальто, отороченном собольим мехом, торопливо вышла из калитки и упорхнула в переулок. А там ее уже ждала кошевка с запряженными гуськом двумя воронами. У кошевки в нетерпении топтался военный.

Девушка бросилась к нему, и он ее обнял. Потом усадил в кошевку, сел рядом. Лошади понесли. Поминай, Глафиру Алексеевну, как звали!.. Не помогли родительские запреты.

Болонкины жили в Якутске, а мы все там же, на большой железнодорожной станции в нескольких часах езды на поезде от бывшего уездного городка с его тихим Форштадтом. В середине тридцатых годов мать и отец наконец решились перебраться в город, который только еще отстраивался, рос, как на дрожжах, вместе с металлургическим комбинатом, рядом все с тем же Кузнецком — только Томь перемахнуть. Кузнецк стали чаще называть Старокузнецком. Он и был старый, овеянный своим прошлым.

Вскоре мы поселились на берегу Томи в большом четырехэтажном доме. Рядом работал деревообделочный завод. Летом через открытые настежь окна с реки тянул прохладный, влажный ветерок, заноса в комнаты вкусный запах стружки. Завод, наш дом, школа, где работала мать и учились мы с сестрой, и еще несколько домов были огорожены земляной дамбой на случай наводнения. В обиходе все это называлось коротко — ДОЗ. На ДОЗе все друг друга знали, здоровались, называли по имени-отчеству. В Кузнецке были форштадские, а мы — дозовские.

...Началась война. Первая «похоронка» пришла заслуженному мастеру из столярного цеха. «Ваш сын погиб в боях за Родину смертью героя...» — было написано на четвертушке листа. Письмо принесли с вечера, и старый мастер глаз не сомкнул в душную июньскую ночь. Он сидел в своей комнате, со своими нелегкими думами, и ни с кем не разговаривал. На кухне тихо плакала жена, утирая полотенцем слезы. Свет не зажигали. Не спали трое сыновей, оставшихся без брата — милого, со смоляным чубом парня, улыбающегося с большой фотографии в деревянной рамке. Они притаились, словно мышата, на большой, нерасстеленной кровати, прижавшись друг к другу плечами. Им верилось и не верилось, что брата больше нет, осталась лишь ласковая улыбка.

Рано утром старый мастер тщательно побрился и с «похоронкой» в руках вышел на улицу. Он устало опустился на скамейку возле заводских ворот. Лицо его было печальным и торжественным. Он сидел так час, два —

в полном одиночестве, потому что люди еще спали.

Но вот они проснулись и, наскоро позавтракав, направились на работу, на завод. Завидя на скамейке старого мастера, они невольно останавливались, сердцем понимая, что случилась беда. Сначала подошли двое, потом трое... Старый мастер протянул листок и тихо проговорил:

— Вот... смертью героя...

Люди, знавшие парня с самых малых лет, помнившие, как он подрастал, как его провожали в армию, стягивали с голов фуражки. К ним подходили еще и еще и тоже снимали фуражки. Из рук в руки бережно передавали листок.

Потом на ДОЗе получали немало «похоронок», но это была первая, дохнувшая в лица суровой, трагической силой войны с такой неотвратимой реальностью.

Зимой приехали Болонкины. Петра Александровича с ними уже не было. С вокзала — прямо к нам. Глафира Алексеевна не захотела в Старокузнецк.

— Поживем пока у вас. Как-нибудь улажу с квартирой. Только на работу устроюсь, — сказала она матери.

У нее было свежее упитанное лицо с ярким румянцем во всю щеку. Она стойко выдерживала свою беду, может, слишком стойко. Все та же полуулыбка, полуусмешка блуждала на губах, и я никак не мог понять, зачем Болонкин увозил ее когда-то на кошевке, запряженной вороньими. По моему убеждению, так стоило увозить только прекрасных принцесс. А Глафира Алексеевна со своим крупным телом к моим меркам для принцесс не подходила.

Зато Геннадия я сразу принял как старшего брата. С восторгом смотрел на него — возмужавшего, с широкими плечами и крепкой грудью. Он немножко рисовался, подчеркивал, что приехал с Крайнего Севера. Стояли нештучные морозы, а он — во всяком случае при мне — ходил в полушубке нараспашку. Правда, под полушубком был теплый, ручной вязки свитер. Однажды ехали в трамвае, он с видом бывалого человека, которому все ни-

почём, стоял у открытых дверей. В двери отчаянно дуло, и кондуктор, не вытерпев, пошла и закрыла их:

— Вам что, жарко!

— Это разве мороз!— проводив ее взглядом, небрежно проговорил Геннадий.— Так. Чепуха. У нас — морозы! Плюнешь, и плевков падает ледяшкой.

Он рассказывал о Лене, о северном сиянии и оленях. В моем воображении вставала удивительная фиолетовая полярная ночь, неистовые сполохи, рвущие небо, собачья упряжка, резво несущая меня с ним по бескрайним просторам тундры. Мы были отважными исследователями и мчались в неизведанное, навстречу опасностям, которые будут подстерегать нас на каждом шагу.

Но в то время главным была война. И для меня, и для Геннадия, и для всех нас — родных и неродных, знакомых и совершенно незнакомых. Война жила в наших думах и целях. Я помню, с какой тревогой и горечью мы вслушивались в неповторимый, пронизывающий душу голос Левитана: «В последний час! Наши войска ведут оборонительные бои...» Геннадий стоял под круглой траурной тарелкой «Рекорда», хмурый, сжав кулаки.

На фронт его не взяли. Подвела больная нога. Врачи разводили руками:

— Годен к нестроевой.

Геннадий умолял, требовал, но его выпроводили за дверь.

— Не всем же воевать,— успокаивала Глафира Алексеевна.— Кто-то же и в тылу должен остаться.

В ее голосе звучало плохо скрываемое удовлетворение. Она была рада такому повороту событий, но поостереглась слишком-то выдавать себя, чувствуя, что сын не на шутку огорчен и едва ли смиритсЯ. А Геннадий не хотел лишний раз расстраивать ее. И лишь мне, когда мы остались в комнате одни, сказал:

— Все равно добьюсь!

Операцию на ноге ему сделал знаменитый в нашем городе хирург Смирнов. К весне Геннадий был совершенно здоров. Больше ему ничего не мешало, медицинская комис-

сия пропустила, придирок не было, и военкомат направил его в пехотное училище.

В это время я уже работал, делал гильзы для артиллерийских снарядов. Я смотрю сейчас на своего пятнадцатилетнего сына, дивлюсь, как он вымахал — выше иного взрослого мужчины — и по-ребячьи остался жидким, как тростинка, улыбаюсь его отроческой бесшабашности и вспоминаю давнего себя. Сотни нас, жидких, узкоплечих мальчишек, зеленых девчонок, не успевших толком наиграться в куклы, постоянно недоедавших и недосыпавших, день и ночь стояли возле ровно гудящих станков. Мы честно и самоотверженно делали свое дело. У многих из нас воевали отцы, старшие братья. Кто-то из них уже сложил головы, а их сыновья и дочери, высушив слезы, затаив горькую сиротскую обиду, гнали и гнали свои станки, чтобы больше было гильз, снарядов, чтобы лучше было тем, кто воюет, бить распроклятых фашистов. Все для фронта, все для победы!

Геннадий присылал короткие письма. Его училище находилось в соседнем городе. «Жив, здоров, все в порядке...» Я крутил письмо в руках и завидовал. И сам он, и все, что было связано с ним, казалось мне недосягаемым, почти героическим.

Осенью Геннадий Болонкин вдруг появился. Он ждал меня у проходной. В ловко подогнанной серой шинели, в армейской фуражке и тяжелых сапогах. В петлицах перламутрово переливались темно-вишневые кубари. Ребячьась, он приложил руку к козырьку, bravо щелкнул каблучками и отпартовал:

— Младший лейтенант Болонкин!

Мне он показался пришельцем из другой жизни. Он весело разглядывал меня, трогая кончиками пальцев полевую сумку, висевшую на левом боку. И потом, когда мы шли, он все притрагивался к ней, сдвигая назад. Наверно, очень гордился ею, считал, что сумка делает его солиднее и старше.

В тот вечер мы долго бродили по городу, не обращая внимания на нудный мелкий дождь и холодные порывы ветра.

— Ах, как славно получилось,— восторженно говорил он.— Нет, ты только представь! Я

уже младший лейтенант. Перед выпуском объявили благодарность за успехи в учебе. Ты понимаешь!!

Он остановился и повернулся ко мне. В сгустившихся сумерках я еще видел его возмужавшее за эти месяцы лицо. Тверже стали линии губ, подбородка, резче, решительнее — движения, жесты. И вообще он уже не был Геннадием, которого я знал раньше. В нем произошла какая-то внутренняя, очень серьезная перемена, наложившая печать на весь его облик, даже на походку, на то, как он сейчас говорит, как держится.

— Ты понимаешь!! — продолжал он. — Окажется, у меня есть талант на стрельбу. Лучше всех в роте стрелял из пулемета. Будто так и надо. Как бритвой резал мишени...

Он энергично повел ребром ладони, показывая, как резал эти самые мишени, лицо его выражало уверенность и удовольствие.

Потом мы зашли в большой сад — в самом центре города. Это было излюбленное место горожан. Сюда приходили по вечерам, громко играла музыка. Люди танцевали, веселились. Как давно это было! Теперь на аллеях никого не было видно. Все пусто и запущено. Стоят по бокам поломанные скамейки, под ногами шуршит опавшая мокрая листва, хлопает жидкая грязь. На голые ветви тополей налетает ветер, с них градом сыплются дождевые капли, попадая на лицо, за воротник. Я ежусь, втягиваю голову в плечи.

— Идем, идем, — подбадривает меня Геннадий. — Немножко побродим.

В дальнем конце сада, там, где еще перед войной построили летний театр, играл баян. Легко и грациозно лились звуки танго — томного и печального. Мы подошли ближе. Единственная лампочка под потолком освещала веранду. Под этой лампочкой сидел на стуле баянист. Он склонил голову, ни на кого не смотрел: верно, сам был очарован своей музыкой, мысленно ушел куда-то далеко-далеко, в какие-то свои сокровенные денечки, где испытывал немало радости.

Так же задумавшись сидели и стояли по обе стороны от него люди в телогрейках и шинелях, накинутах на плечи поверх больничных халатов. Иные с тросточками, иные на костылях. Выздоровливающие из ближнего военного госпиталя. Их уже опалила война. Они знали то, чего не знал ни я, ни Геннадий.

Геннадий жадно, с любопытством смотрел на раненых. О чем он думал в эти минуты! Во всяком случае, я не увидел на его лице сомнения. Он проговорил:

— Завтра уеду на формирование. Дадут мне взвод.

В его голосе была твердость, непреклонная сила.

Таким я его и запомнил — на всю жизнь. И еще, когда я слушаю старое танго «Брызги шампанского», мне чудится запах прелой осенней листвы.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С РАССВЕТА

Его жизнь нельзя, пожалуй, разделить на периоды: осинниковский, новокузнецкий, черемховский, кемеровский. Есть город — «лучше места нет на земле». Так говорила одна из героинь «Земли Кузнецкой». Это — об Осинниках. Это искреннее признание Александра Никитича Волошина. С Осинниками его связывал домик на тишайшей окраинной улице, где жила всепрощающая и всепонимающая мать, а через ограду — сестренка Ольга, которую за ее доброту, человечность можно только любить. Здесь, в Осинниках, на десятой штольне начиналась его рабочая шахтерская жизнь. Он был запальщиком — профессия смелых и сильных. Тогда, в начале тридцатых годов, эта профессия считалась необычной. Запальщика в забоях ждали как бога. От него зависело все: и добыча угля, и ритм работы, и заработок горняков.

Здесь в Осинниках Александр Никитич начинал постигать азы журналистики, работая в городской газете. Все это и еще война, навсегда опалившая его память, выкристаллизовали в нем качества писателя. Это понимается по его первой и самой главной книге «Земля Кузнецкая», пропитанной, как говорится, местными фактами, приметами города, чертами и характерами людей, которые, даже художественно осмысленные и обобщенные, напоминают кого-то конкретного.

Разве забудешь такой город?!

РАССКАЗЫВАЕТ СЕСТРА ПИСАТЕЛЯ ОЛЬГА НИКИТИЧНА:

— Шура приезжал к нам неожиданно, всегда без предупреждений. Писем он вообще писать не любил. За войну два, кажется, письма маме прислал — и все. Приезжал он или один, или с друзьями. Усаживал меня в кресло: «Садись, Люся, будем говорить». Меня родители почему-то Люсей звали. И он — так же. Рассказывал он о знакомых писателях, о себе, о житейском — обо всем с юмором, интересно. Мы сидели, раскрыв рот.

Затем начинались воспоминания. То вдруг расскажет, как в тридцатые годы по молодости работал директором пионерского лагеря. Лагерь далеко — за Шушталепом. Дорог — никаких: тропки, по которым в дождь ни проехать, ни пройти. И вот однажды серьезно заболели ребята. Врач — только в Осинниках. Сел он на лошадь верхом, до этого ни разу



не садился, и во весь дух за врачом. «И ребятишек спас, и верхом ездить научился», — шутил после.

То вдруг вспомнит, как на охоту ходил с Геннадием Молостновым. Оба — никудышные охотники. Полдня по лесам топали, никакой дичи не добыли. Зашли в какую-то деревушку, купили курицу... ну и потом охотничий ужин справляли.

А чаще всего Александр рассказывал о войне. Услышит что-то по радио, книгу возьмет, в газету заглянет, за слово какое-то зацепится и начинает — о войне.

Два дня при его приездах мы говорили с утра до вечера. Потом он уходил в рабочий кабинет Эдуарда Леопольдовича, мужа моего, и читал или писал. В доме становилось тихо... Не вспоминать бы об этом, посидеть бы снова вечерок-другой.

Рабочий кабинет Э. Л. Судниса своеобразен. Одно окно — на восток, а у стен от пола до потолка — самодельные стеллажи, заставленные книгами. Их здесь более двух тысяч. Настоящее царство книг! Эдуард Леопольдович может рассказать, где именно, когда и при ка-

ких обстоятельствах куплена каждая... С Александром Никитичем он говорил о другом: он ему сюжеты для романов предлагал. Эдуард Леопольдович на полном серьезе считал, что особенности осинниковской синклинали юрских отложений, история геологических разведок и проходки шурфов могут стать главным в художественном произведении, как они были главным в жизни горного инженера Э. Л. Судниса. Александр Никитич отшучивался, а чтобы закончить разговор, говорил: «Вот ты возмись и напиши сам про любимые синклинали. Это же интересно только для специалистов». Эдуард Леопольдович не соглашался. Он и сегодня так увлеченно рассказывает про эту самую синклинали, как она простирается, в каком направлении, будто видит ее перед глазами, будто держит ее в руках, перекидывая с ладони на ладонь. Александру Никитичу, наверно, была приятна эта чудинка родственника.

В старом семейном альбоме я загляделся на неброскую любительскую фотографию: Александр Никитич лежит в траве, в зубах—черемухиная ветка, глаза устремлены вдаль, и кажется, будто он пьет свежесть летнего полдня. Губы полуткрыты, подбородок восторженно вскинут, волосы растрепал ветер... Это было вот здесь, в этом палисаднике. Тогда, при матери, сад был зеленей и кустистей. Пелагея Афанасьевна, как к живым, подходила к вишням, яблоням, ранеткам и говорила о них, как о живых: «В войну сад кормил нас. Вы его берегите».

Отсюда, если встать в полный рост, а еще лучше—на крыльцо подняться да прикрыть ладонью от солнца глаза, видно далеко-далеко. Карабкаются на взгорки улочки, дома, как горошины, рассыпаны по логам. Отсюда Кондома видна. За ней, как зеленые островки, перелески, а еще дальше, насколько видит глаз, холмы, холмы, похожие на большие застывшие волны. Так и кажется: вот сейчас всколыхнутся они и закачаются, задвигаются. Лучше не издали смотреть, а пройти проторенными тропами: они в конце концов приведут к зеленой прохладе, где неумолчны птицы, где на осинке, будто в бесконечной пляске, колышется листва и где прозрачные камешки на дне сосчитать можно. Ручейки и речки с завораживающими названиями: Каландас—как птичий вскрик, Шуштепка—только полусшепотом и произнести можно. У этих неповторимых мест Александр Никитич брал уроки тишины.

О ТОМ, КАК НАЧИНАЛАСЬ ШАХТА «КАПИТАЛЬНАЯ», А ВМЕСТЕ С НЕЮ РАБОЧАЯ БИОГРАФИЯ А. Н. ВОЛОШИНА, вспоминает первый машинист врубовой машины Михаил Филиппович Смоленчук:

—Мы смотрели на него снизу вверх, задирая головы. Мы—это я, Павел Алдохин, Виктор Беломестных и другие учащиеся школы Горпромуч, которые сначала прошли общеобразовательные курсы, потом кто какие: электрослесарей, машинистов врубовой, машинистов электровозов. На шахту мы приходили на практику и всегда встречали его, Александра Никитича Волошина, секретаря комсомольской ячейки. Рослый, стройный, с большой кудрявой головой, он запоминался сразу. Не видом своим, не словами. Для нас, пацанов, комсомол—было притягательным словом. С ним мы связывали бурные собрания, дискуссии, веселые вечера, азартный труд. Иногда, проходя мимо Волошина, думали: «А если бы он спросил: вы готовы вступить в комсомол? Дыхание перехватывало от такой мысли».

Руководить комсомольской организацией было непросто. Это мы после поняли. Народ на шахте приезжий, разношерстный, всякий. Забот много—и о том, где жить, и о том, как работать. Требовался уголь. А как его добыть? Лошади, и те хитрили: прицепят лишнюю вагонетку, она дернет состав, прислушивается к перестуку, если больше десяти—не идет, хоть ты ее захлещи. А человека не подхлестнешь, его научить надо, на работу вдохновить. Волошин, наверно, умел это. Часто вспоминали после: «А помните при Волошине...».

Если бы знать, что он станет писателем, больше бы запомнил. Чаше Александра Никитича я встречал уже после войны, уже прочитав «Землю Кузнецкую». Мы, горняки шахты «Капитальная», читали роман с особым интересом. Все было до того близко и знакомо. Этим жил наш коллектив. Честная книга получилась.

Александр Никитич меня удивлял еще вот чем: все он знал. Я говорил, что никаких личных контактов, бесед до войны у меня с ним не было. А он все знал обо мне: и что я первый врубовку внедрял, и что участвовал в комсомольских лыжных переходах Осинники—Кемерово, Осинники—Новосибирск. Встретимся—равно старые знакомые, обо всем расспрашивает, вспоминает, о чем я уже забыл. Любил он наш город, горняков любил: не выдуманных—какие есть.

После войны Александр Никитич снова вернулся в Осинники, в газету. Работал он ответственным секретарем, но и сам писал не меньше штатных корреспондентов. Его первая публикация «Во имя счастья» вобрала в себя раскаты только отгремевшей войны, радость первых мирных дней, гордость за земляков-фронтовиков. Особенно часто бывал Волошин на шахте «Капитальная».

ВСПОМИНАЕТ БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК
ВОСЬМОГО УЧАСТКА ВИКТОР СЕРГЕЕ-
ВИЧ АВДИЕНКО:

— Встречи с журналистами запоминаются. Иногда курьезами. Один умник написал однажды: «Шахтер Чугунов уперся головой в кровлю и удержал забой от обрушения». Это про нашего Алексея Ильича. Над этой «гипер-болой» вся шахта до коллик хохотала.

Волошин приходил на участок незаметно, садился в сторонке, слушал, смотрел, иногда вопросы подбрасывал. Шахтеры народ разговорчивый, пока им не скажут: «Я из газеты».

Я удивлялся: мало спрашивает, как напишет? Но писал он объективно, без трескучих фраз, люди живыми, выпуклыми, что ли, виделись в газетных публикациях. Народ у нас интересный был. Про одного Алексея Ильича Чугунова можно книгу написать. И могу утверждать, что в «Земле Кузнецкой»—многое именно про наши поиски, будни, про наших горняков... Умел Волошин увидеть главное...

Виктор Сергеевич Авdienko был не только дельным руководителем, но и хорошо владел словом. Две его брошюры о передовом опыте руководимых им коллективов изданы в серии «Библиотека новатора угольной промышленности»—доверительные рассказы о людях, о времени, о себе, не перегруженные техницизмами, статистическими выкладками. О шахте Виктор Сергеевич рассказывает необычно: «Знаете, что такое посадка? Это — симфония звуков. Чего только не услышится: и кудахтанье квочки, и протяжное завывание, и раскаты грома, и будто старческое перешептывание. Асы шахтеры по этим звукам определяют, когда лава просит посадку...».

Можно догадаться, почему А. Н. Волошин любил бывать на участке В. С. Авdienko.

Каждый раз, приезжая в Осинники, А. Н. Волошин обязательно заходил в редакцию городской газеты. Она теперь размещается в другом здании, в 300—400 метрах от того, где была после войны, где работал он. Но главное, конечно, не здание. Он так пристально и долго перелистывал подшивку, иногда поднимая взгляд на меня, что я начинал чувствовать себя не редактором, а школьником перед взыскательным экзаменатором.

—И что же мы знаем о городе? — мягко спрашивает он.

— Знаем, что на шахте «Алардинская» установлен рекорд рудника по добыче угля в механизированной лаве...

— Это хорошо, что в механизированной. А то ведь Осинники целых три десятилетия только молотковыми рекордами и славились.

— Знаем, что в Малиновских ДОЦ пере-страиваются цеха своими силами. Идет реконструкция завода КВОНТ. Его производственная мощность вдвое возрастет. Кстати, вы знаете директора завода Перминова. У него в кабинете зимой цветут лимоны. Такой запах, будто на юг приезжаешь,—рапортовал я.

Александр Никитич добродушно улыбался: «Это хорошо, что знаешь даже про лимоны. Газета должна жить полнокровной жизнью, ничто не считая мелочью. Самый интересный очерк не может спасти номер газеты, если в нем нет географии и калейдоскопа событий. Так называемая мелочевка фиксирует сегодняшний день, который завтра—прошлое, а через годы его можно восстановить только по старым подшивкам газеты».

Иногда он засиживался, и тогда начинались воспоминания о шумных заседаниях литгруппы, о старожилах города, о газетчиках. Обо всем—будто это было вчера, будто это все перед глазами. Когда он говорил о городе, мне всегда вспоминалась фраза из «Земли Кузнецкой»: «Из-за горы Елбань поднимался день—бокогрей, шахтерский город поклонился ему сотнями розовых дымков». Она живая, эта фраза, в ней доброта и зримость. Что характерно, многие пейзажные зарисовки в романе связаны именно с утром. Это кажется даже однообразным. Я однажды сказал ему об этом. Он ответил: «Все начинается с рассвета...». Вроде уклонился от ответа. И лишь позднее я понял неслучайность любования утром, автор словно подчеркивал состояние своих героев, шахтерских будней, послевоенного города—все несло в себе пробуждение.

К 70-летию писателя в городе намечено установить мемориальную доску на доме, где жил и работал Александр Никитич. В городском краеведческом музее открыт уголок Волошина. Там собраны его книги, фотографии разных лет, некоторые личные вещи, авторучка, трубка писателя... Я с волнением разглядывал эти экспонаты, и подумалось: написать бы здесь крупными буквами: «Его сердце отдано нашему городу».

Анатолий Шишкин

Михаил Сорокин

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ В САЛАИР НЕ ПОЕДЕТ...

Летом 1982 года город Салаир, старейший центр горнозаводской промышленности Кузбасса, отметил свое двухсотлетие. В истории отечественной промышленности, насыщенной событиями и фактами, немного найдется предприятий, чья трудовая биография могла бы сравниться с Салаирским рудником.

Двести лет назад началась промышленная эксплуатация салаирского полиметаллического месторождения. С тех пор из его недр извлечены миллионы тонн руды, страна получила десятки тысяч тонн цинка, свинца, меди, барита, много золота и серебра.

Длинной чередой бегут годы, но не старится с годами, а молодеет и хорошеет старейшина горнорудной промышленности Кузбасса. Разведчики недр отыскивают все новые и новые рудные поля и передают их разработчикам. Еще не один миллион тонн металла, необходимого нашему народному хозяйству, подарит Салаир. Большая интересная история у Салаирского рудника.

Летом 1868 года по Сибири совершал путешествие сын императора Александра II великий князь Владимир. Маршрут его путешествия был продуман и расписан до мелочей. В тех местах, которые должен был посетить представитель императорской семьи, спешно приводились в порядок дороги и мосты, наводились переправы. Города и поселки украшались цветами и гирляндами, городничие планировали всевозможные увеселения, чиновники составляли торжественные речи...

В связи с поездкой по Сибири Владимира Александровича немало забот свалилось на плечи представителей местного жандармского корпуса. Великий князь собирался посетить горнозаводское хозяйство Кабинета в Западной Сибири, императорские владения, а это значит — и заводы, и рудники, и фабричные поселки. Много отчего голове шефа жандармов идти кругом.

В маршруте великого князя был и Салаирский рудник. Согласно первоначальному замыслу здесь планировалась небольшая остановка, всего минут на тридцать. На большее у составителей диспозиции смелости не хватило. Лишь прослушать приветствие управляющего рудником, размять ноги, попить чай и тут же снова в путь.

Однако все случилось совсем не так, как было задумано. На Салаирском руднике, после того как народу стало известно о предстоящей поездке великого князя, произошли массовые беспорядки.

О случившемся в Салаире позволяет судить хранящееся в Государственном архиве Томской области обширное следственное дело: «О беспорядках, возникших в Салаирском руднике во время проезда великого князя Владимира Александровича из Кузнецка в Томск вследствие неблагонадежных слухов от тамошних мастеровых».

Вот уж злодеи, эти салаирцы, так злодеи... Делать им, видать, было нечего. Всего-то и занятий, как распускать всякие неблагонадежные слухи.

По распоряжению самого господина генерал-губернатора Западной Сибири началось следствие. Тянулось оно бесконечно долго, более двух лет. К дознанию привлекались десятки людей. Многие из них были сурово наказаны.

Так что же все-таки случилось в этом злополучном Салаире во время путешествия великого князя Владимира? Понять из следственного дела подлинную картину случившегося довольно трудно, потому что царские

жандармы следствие намеренно вели по заведомо ложному пути, обвиняя горняков во всех смертных грехах.

Вместе с тем в следственном деле есть и такие документы, которые несколько проясняют ситуацию. К примеру, рапорт управляющего Салаирским краем Смирнова в правление Алтайского горного округа. В нем говорилось: «Волнения народа начались задолго до приезда великого князя, а именно, с тех пор, как сделано было распоряжение о поправке дорог и мостов и о приготовлении лошадей...»

Здесь ясно сказано, что поездка сына императора показалась горнорабочим Салаира подходящим поводом для выражения годами копившегося недовольства условиями жизни. Великий князь показался той очень редкой в сибирской глубинке высокопоставленной фигурой, которой можно было выразить свое недовольство. Что это действительно так, говорит и весьма примечательное замечание управляющего Салаирским рудником Смирнова — «со времени освобождения мастеровых ни одно распоряжение правительства не принималось жителями Салаира без ропота и ложных толкований...»

Как хорошо знакомы всякому исследователю классовой борьбы трудящихся эпохи феодализма все эти обвинения во лжи, в грубости черни, в хамстве толпы! Любое требование рабочих и крестьян улучшить условия жизни и труда встречались царскими чиновниками в штыки. Еще бы! Ведь удовлетворение этих требований уменьшало барыши владельцев заводов и рудников.

Чего все-таки добивались горняки Салаирского рудника в 60-х годах XIX века, сто с лишним лет назад? Какие требования они выдвигали? Они требовали, чтобы их освободили от уплаты податей и повинностей, просили повысить заработную плату, увеличить земельные наделы. Удовлетворение этих требований опять же шло вразрез с интересами императора, верховного собственника Кабинетских владений.

Изучение следственного дела показывает, что поездка великого князя лишь обострила эту борьбу, придала ей новый импульс. Сами же волнения горнорабочих Салаира продолжались несколько лет, еще задолго до поездки сына императора по Сибири.

В феврале 1865 года в Салаир был вынужден приехать томский губернатор. Ценой значительных усилий, с помощью угроз ему удалось принудить салаирцев уплатить числившиеся за ними недоимки. А недоимок накопилось немало — целых четыре тысячи.

История классовой борьбы знает такую форму социального протеста, как отказ от уплаты налогов, от выполнения повинностей. Осво-

бождение от обязательного труда на Кабинетских предприятиях не принесло салаирцам избавления от уплаты налогов за землю, которой они пользовались.

Не прекратились волнения в Салаире и в следующие годы. В 1867 году сюда снова пришлось выезжать высокому начальству. На этот раз в Салаире побывал генерал-губернатор Западной Сибири.

И вновь, как это было уже не раз, подати удалось буквально выколлотить с помощью угрозы массовой высылки салаирцев в Нарымский край. Чтобы придать этим угрозам больший вес, были арестованы главные «подстрекатели» Тонышев и Паршуков.

Учитывая печальный опыт пребывания в Салаире томского губернатора и генерал-губернатора Западной Сибири, местные власти с визитом великого князя не связывали каких-либо светлых надежд. Ни наград, ни благодарностей в приказе, одни дополнительные хлопоты.

В ожидании всяческих неприятностей были предприняты чрезвычайные меры предосторожности. На Салаирском руднике загодя разместили дополнительные казачьи части. В целях профилактики были заранее арестованы все подозрительные лица. При сельских управлениях Гавриловского, Гурьевского и Новобачатского обществ были дополнительно построены камеры для арестантов. Просто так, на всякий случай. Вдруг пригодятся.

И все-таки на душе управляющего Салаирским краем, как говорится, скребли кошки. Принятые значительные меры предосторожности все же не давали полной гарантии того, что нежелательных инцидентов удастся избежать.

Высшие сибирские власти сочли за благо изменить маршрут предстоящего путешествия. 5 июля 1868 года кузнецкий исправник получил от генерал-губернатора Западной Сибири уведомление о том, что в «Гурьевский завод и Салаирский рудник великий князь не поедет». Управляющий Салаирским краем и его помощники могли вздохнуть облегченно.

Однако изменения в маршруте путешествия великого князя не смогли предотвратить народных волнений в Салаирском крае. Слухи о предстоящей поездке близкого к императору лица по территории Алтайского горного округа взбудоражили мастеровых и крестьян. Повсеместно состоялись самочинные народные сходы. На имя великого князя составлялись прошения и жалобы.

Авторами их были отставленные от службы бывшие писари, мастеровые, солдаты, чиновники и прочий стоящий ныне не у дел люд. Так, например, в поселке Гурьевского завода прошения на имя великого князя составляли отставной пробирщик Егор Вяткин, мастеровой

Христофор Тонышев и отставной писарь Михаил Кротов.

Когда окончательно выяснилось, что сын императора не посетит Гурьевский завод, собравшаяся у конторы толпа загудела от негодования. Люди чувствовали себя обманутыми, обведенными вокруг пальца. Столько надежд было связано с прошениями...

Поднялся невообразимый шум. Со всех сторон неслись крики, брань. После долгих пересудов было принято единодушное решение идти из Гурьевска в Салаир, где в то время находилась резиденция управляющего краем.

Скоро вдоль дороги из Гурьевска в Салаир вытянулась нестройная толпа разгневанных и расстроенных людей. Сотни людей шли в Салаир с одной только целью, с одной надеждой — вручить властям свои прошения, добиться удовлетворения своих справедливых требований.

Здесь мы вновь сталкиваемся с одним из старинных обычаев в истории социального протеста трудящихся — идти к властям всем миром, стоять заодно. Полвека спустя, уже в XIX веке, питерские рабочие, столичный пролетариат, клонет на удочку попа Гапона, пойдет к Зимнему дворцу просить милости у царя. Гурьевский и салаирский рабочий 60-х годов XIX века — это далеко еще не кадровый пролетарий, а скорее мастеровой с земельным наделом, тысячами нитей связанный с крестьянской идеологией и сельским бытом.

Вручить свои прошения толпе в тот день так и не удалось. Власти были предупреждены о случившемся и подготовились к встрече. Начались массовые аресты, затем долгое следствие, суд и расправа.

Мы рассказали только об одном факте массового выступления горнорабочих Салаира. Дальнейший поиск краеведов, архивные изыскания, изучение горнозаводского фольклора должны выявить великое множество примеров и фактов из истории героической борьбы трудящихся Кузбасса за свое социальное освобождение.

В XIX веке Салаирский край видел ряд массовых и острых выступлений крестьянства против феодального гнета. Одно из них принадлежит жителям Бачатской волости. Произошло оно в феврале 1816 года. Центром событий стало волостное село Бачатское.

Причиной волнений было недовольство крестьян непосильными горнозаводскими работами, повинностями, произволом властей, их грубым вмешательством во внутренние дела сельской общины.

Непосредственным поводом для выступлений послужили действия земского управителя Тегинцева, который отказался утвердить решение волостного схода о назначении новой сельской выборной администрации — старост,

десятников, сотских и волостного писаря.

Главные события развернулись на волостном сходе. Он состоялся в здании волостного правления. Сюда же прибыл и здешний земский управитель Тегинцев.

Сход проходил бурно. Когда управитель объявил собравшимся, что он не утвердил решение крестьянских выборных, со всех сторон стали раздаваться возгласы возмущения: «Грабитель, изверг, нарушитель законов!» Они красноречиво свидетельствовали об отношении крестьян к земскому управителю.

Почувствовав, что назревает схватка, что словами и уговорами крестьян ему не успокоить, Тегинцев отправил своего подручного за помощью на Салаирский рудник, где находился ближайший от села Бачатского административный центр. Здесь располагалась воинская часть, командир которой обязан был оказывать местным властям помощь в подавлении народных выступлений.

Воинская команда из Салаира прибыла в село Бачатское уже под вечер. Ее начальник, офицер Тихобаев, ни минуты не медля, выставил у входа в волостное правление караул, а сам с остальными солдатами протиснулся внутрь здания.

Тегинцев, увидев прибывших к нему на помощь солдат, осмелел, решил преподать крестьянам суровый урок. Он приказал тут же, на сельском сходе, арестовать главных зачинщиков беспорядков.

Однако далее все пошло совсем не так, как предполагал земский управитель. Он рассчитывал, что при виде солдат крестьяне растеряются, оробеют. Не тут-то было. Когда солдаты попытались исполнить полученный приказ и начали хватать главных зачинщиков, вязать им руки, в помещении поднялся неимоверный шум, началась свалка. С грохотом валились на пол опрокидываемые столы и лавки. В поднявшейся суматохе крестьяне стремились достать земского управителя. Его могли бы и убить. Лишь с помощью воинских чинов Тегинцеву удалось вырваться из рук преследователей и укрыться в одном из подсобных помещений в здании волостного правления.

Перевес в первой схватке с солдатами оказался на стороне крестьян. После потасовки вид у воjak был совсем не геройский. У многих из них были порваны мундиры и портупей. Толпа отобрала у солдат ружья и выгнала их из села в Салаир. Помятые, с разбитыми носами, с синяками под глазами, они вызывали скорее сочувствие и смех, чем страх.

Крестьянские волнения в селе Бачатском в 1816 году, как и все другие выступления крестьянства в эпоху феодализма, оказались неподготовленными, стихийными, неоргани-

зованными. Участники этих событий не имели никакого плана борьбы.

То, что произошло в здании бататского волостного правления 28 февраля было импровизацией, спровоцированной неуклюжими действиями земского управителя. Но за них крестьянам пришлось отвечать, причем отвечать полной мерой.

Через несколько дней из Барнаула прибыли крупные подкрепления. Воинскую команду возглавлял чиновник Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства следователь Морхинин. Начались аресты. Более двадцати человек были арестованы и под усиленным конвоем препровождены в столицу горного округа.

Власти больше всего опасались дурного примера волнений в Бачатской волости на крестьян остальных ведомств горного округа. Поэтому бататцам в 1816 году был преподнесен жестокий урок.

Степан Колмогоров и Семен Бестемьянов, главные участники побоища в здании волостного правления, организаторы составления многочисленных прошений, были жестоко наказаны плетью (им дали по сто ударов). После казни им навечно запретили пребывание в пределах бататского ведомства, определили в горные работники и поместили в самых отдаленных рудниках. Начальство позаботилось также и о том, чтобы Колмогоров и Бестемьянов были развезены «по разным местам».

Жестокая кара ждала все семейство Колмогоровых, которые давно уже в глазах начальства прослыли как люди опасные, неспокойные. Вся семья Колмогоровых была выслана за тысячи верст от родных мест, в дебри Горного Алтая, в Бухтарминскую волость. Причем шестидесятилетний глава семейства, отец Степана, дед Колмогоров был наказан батогами. Дали ему «всего лишь» сорок ударов».

В приговоре по делу о массовых крестьянских волнениях в Салаирском крае в 1816 году можно прочесть, что «Иван Колмогоров (отец семейства — М. С.) издавна обращается в одних только расстройках, наносящих немалые затруднения как Канцелярии горного начальства, так и Губернским присутствиям... к тому же со стороны «развратного» поведения известен и Сенату».

Любопытное замечание. Значит, волнения в Бачатской волости тянулись уже давно, о них было известно в столице. Февральские события в селе Бачатском — лишь бурный всплеск таившегося под пеплом огня. Что же касается терминологии официального источника, то хорошо известно, что любое выступление против освещенных авторитетом церкви и государства порядков считалось действием «раз-

вратным». Участников народных движений называли ворами и разбойниками. Сам же народ на это обвинение возражал так:

Мы не воры, не разбойнички.
Стенки Разина мы работнички.

Не раз Ивану Колмогорову приходилось выступать ходатаем по мирским делам в Барнауле, в Томске, в Тобольске. Это снискало ему уважение и признательность со стороны бедняков-односельчан, лютую ненависть со стороны сельских богатеев. Власти сочли, что наступил наконец тот долгожданный момент, когда можно было полной мерой отплатить опасному смутьяну.

Зверски избили плетью крестьян Василия Коновалова и Ивана Бутина. Дали им по 75 ударов. После расправы вместе со своими семьями они были высланы в Горный Алтай. Их новому начальству было приказано бдительно следить, «чтобы они оттоль, кроме заводских работ, отнюдь никуда отпущены не были».

Жестоко наказали и крестьян многих других деревень. Преследовалась цель не только покарать непосредственных «виновников», но и запугать всех жителей Салаирского края. Власти как бы предупреждали, что точно такая же горькая участь ждет каждого, кто осмелится бунтовать, кто решится выступить против порядков, освященных авторитетом церкви и государства.

Всего о двух фактах из истории классовой борьбы трудящихся Кузбасса рассказывается в этом очерке. Но они убеждают в том, что крестьянство и рабочий класс Кузбасса никогда не стояли в стороне от той ожесточенной борьбы, которая велась трудящимися массами всей России за свое социальное освобождение.

И когда наконец в Салаирский край пришла весть, что в Петрограде сброшено царское самодержавие, в деревнях и поселках наступило всеобщее ликование.

Рабочие Гурьевского завода провели митинги и собрания. Взволнованную речь произнес старый подпольщик, революционер Б. К. Шатило. Ликующая толпа под крики всеобщего одобрения срывала со стен портреты царя.

И как когда-то полвека назад, из Гурьевска в Салаир, снова двинулось огромное шествие. Правда, настроение у людей на этот раз было совсем другим. Звучали революционные песни, гордо реяли красные флаги. Металлурги Гурьевского завода шли поднимать обывателей села Салаирского (рудник к тому времени был уже прежними владельцами давно заброшен) на борьбу за новую жизнь. Над Кузнецкой землей поднималась заря свободы.

Геннадий Полицин

ЗАПОВЕДНИК ДЕТСТВА

Заметки о повести Геннадия Естамонова «Здесь я живу»

Вот и прочитана новая повесть молодого кемеровского прозаика Геннадия Естамонова («Огни Кузбасса» № 4, 1980 г.).

— Что же еще тебе приготовила жизнь? — спрашиваю я героя повести Алешу, автора, себя. И от этого становится грустно, как грустно бывает расставаться с незнакомым человеком, который в полумраке вагона неожиданно открыл свою душу.

Остановка. Короткое прощание. И твой путчик скрывается в ночи. А ты еще долго не можешь заснуть. Ворочаешься на жесткой полке, еще и еще раз вспоминаешь его смущенную улыбку, думаешь, примеряешь его судьбу к своей... Его судьба во многом перекликается с твоей... И благодарно чувствуешь еще одну родственную душу.

Так случилось и у меня с главным героем повести «Здесь я живу». В начальных главах Алеша рассказывает о себе с ироничной объективностью: «При родах пытались меня спасти, помогали мамке, тянули щипцами, поэтому у меня такая продолговатая, наподобие еловой шишки, голова. С тех пор, как я стал сознавать наличие в этом мире и помнить, — все время болел. Большой живот, тонкие, что палки из плетня, ноги, пупыристая, как у обципанного гуся, кожа, продолговатая голова делали меня непохожим на других обитателей дома».

Мальчик «урод»... Казалось бы, все, начиная с самого дня рождения, было подготовлено жизнью так, чтобы со временем он стал озлобленным, замкнутым. Как ему утвердить себя в этом мире, где порой и физически прекрасные люди превращаются в душевных уродцев?

Мать Алеши умерла при родах. Родственники не скрывают своей неприязни к «недоноску». Заразившись этой неприязнью от взрослых, дети издеваются над ним.

И если агрессивность пока не поселяется в его душе, нужно сказать спасибо бабушке

Алеши, подружке Римке, которая старше мальчика на три года, и... лесу. Да, именно лесу, тому самому, что издавна кормил бабушкину семью, куда однажды бабушка и взяла рвать колбу своего внука.

Здесь началось исцеление Алешиного тела, здесь делает он свои первые открытия: «...я заметил, что совершенно разные существа обладают некоторым сходством: у земли они все черного, коричневого, темно-синего, темно-зеленого цветов; выше, в траве, окраска просветляется; еще выше однотонность начинает пестреть, а еще выше, оторвавшись от земли, выбравшись из путаницы трав и цветов, взяв цвет неба и голубых туманов, дремлющих от зноя деревьев и кустарников, собрав все краски цветов и трав, порхают, летают существа с такой неожиданной расцветкой — вздрагиваешь, пораженный, дух захватывает от такой красоты. Надо же...» Образы бабушки и леса постепенно на протяжении всего повествования сливаются воедино, превращаясь в символ мудрости и терпения.

Что влечет людей друг к другу? Видимо, что-то общее. На этот раз мальчика и соседскую девочку Римку свела беда — одна на двоих. Римка тоже часто болела. Лицо ее вечно покрыто золотушной коростой, что отталкивало от нее сверстников. Двое «отверженных», предоставленные самим себе, сумели создать свой мир и жить в нем интересно. Их игры противоположны играм, затеваемым двоюродными братьями Алеши.

Сравним: «Один раз братья привязали мои ноги к табуретке, заговорили, варенья дали (знали мою слабость). Увлёкся сладким, а они разбежались по комнатам и велют искать их. Я соскочил и упал вместе с табуреткой лицом об пол».

И тут же: «Однажды Римка объявила мне, что это вовсе не считалки, а стихотворения. В доказательство она принесла книгу для чтения и сказала:

— Здесь все, что мы выучили, записано.

Я был поражен. Видел и слышал раньше, как читали взрослые и старшие братья и сестры, и все проходило мимо меня. А Римка мне глаза открыла на такое чудо».

Жестокие игры, жестокие дети.

И на самом деле, приглядитесь, как играют ваши дети... Как на озерной глади видны опрокинутые леса, так и в их игровых моментах отражаются нравственные начала маленького человека.

Не ябедник, не подлиза, а в школе его не любили. Жестокие игры сверстников преследуют его и здесь. На перемене устраивается на «недоноске» куча-мала. Красноречиво характеризуют отношение одноклассников к Алеше прозвища: клинголова, ушастик, головастик и т. п.

Поле воздействующего на мальчика зла расширяется. И, как неизбежность, в его душе рождается и растет ожесточенность. Мальчик начинает ненавидеть ребят, учителей, самого себя.

Именно в этот критический момент, когда с тревогой думаешь, не утвердится ли это темное чувство в его душе, и появляется спаситель, который отвел беду, заставил отчаявшегося мальчика поверить в собственные силы. Это Саша Кленов—ученик старших классов. Он поймал заклятого врага Алешу, Эдика, который с группой ребят приготовился к очередному избиению «недоноска». Саша принудил Алешу ударить обидчика. И тот ударил, один только раз. И сам заплакал.

— Хулиган!—гневался перед педагогами родитель потерпевшего Эдика. А увидев драчуна... воскликнул: — Это же бандитская физиономия!..

Равнодушная к судьбе мальчика «общественность» взволновалась. Рос ребенок тихим и безропотным—вдруг избил своего товарища: проглядели хулигана!

Бывает, к сожалению, и так, что мы начинаем по-настоящему обращать внимание на человека только тогда, когда он чем-то возстановит против себя.

Этот критический поворот в жизни героя повести «Здесь я живу» напомнил мне собственное детство и судьбы так называемых «трудных» детей. Их так же, как и Алешу, проморгали родители и педагоги. Кстати, подобного рода воспитатели и нормального ребенка способны на скорую руку записать в разряд безнадёжных, не подозревая, что в нем действует сумма их же педагогических просчетов.

К счастью, этого не произошло с Алешей. Рядом с ним оказались чуткие и внимательные люди—семья Кленовых. Участием в судьбе мальчика они не дали развернуться возмущен-

ной «общественности», что могло стать для мальчика бедой всей его жизни.

Своим поступком Алеша заставил считаться с собой сверстников и учителей.

Произошла ломка стереотипных взглядов, удобных во взаимоотношениях людей, скрывающих равнодушие.

После смерти бабушки у Алешу не остается людей родней, чем Кленовы. Подружка Римка, как бы передав друга в надежные руки, ушла на задний план и в дальнейшем живет лишь в воспоминаниях мальчика.

...Но приходит пора расставаться нашему герою с Кленовыми. Фронт откатывался на запад. Эвакуированные семьи возвращались на разоренные земли.

Алеша остался один... квартирантом в собственном доме. Память о бабушке, Римке, о семье Кленовых помогает ему преодолевать житейские невзгоды.

— Твои заметки просто-напросто пересказ повести Геннадия Естамонова «Здесь я живу»...—сбил меня с рабочего ритма мой товарищ, прочитав первые страницы, теперь знакомые читателю.

Я задумался: какой все-таки должна быть литературная критика? Во времена Белинского субъективность в разговоре о том или ином произведении была необходимым свойством наряду с объективностью суждений. Именно такую критику я приемлю, где заинтересованностью дышит каждое слово. И если взялся за дело, то только потому, что вопросы повести «Здесь я живу» давно волнуют меня и как человека и как гражданина своей страны.

...В очередной главе мы встречаемся с Алешей, неожиданно повзрослевшим на два года! Чем оправдан этот композиционный сдвиг? Ведь все предшествующие главы поставлены автором в хронологическом порядке.

Оказывается, после отъезда Кленовых мальчик сбежал от родственников из дома. Был поводырем слепого гармониста, затем оказался предоставленным самому себе и, наконец, попал в детский дом.

С момента композиционного сдвига начинает нарастать чувство неудовлетворенности. Не слишком ли быстро и легко вырастает мальчик в новый для него коллектив детдомовцев?

Желание автора поскорее вывести своего героя на торную тропу незамедлительно влечет за собой художественную необудительность. Несмотря на событийную насыщенность, повествование развивается вяло.

За два года беспризорной жизни мальчик почти не изменился, он все такой же «инсусик», безропотно принимает все требования новой действительности. И лишь однажды перед ним

встал вопрос: бежать или не бежать из детского дома? Причина? Школа, где мальчик чувствует себя неуверенно. Никак не решается задачка. А ведь он не из глупых. И вот однажды на уроке, на вопрос учительницы: «Кто не выполнил домашнее задание?» — сгорая от стыда, Алеша признался, что он. Вслед за ним протянул руку его товарищ по парте Юра, за ним другой ученик, и еще один, и еще, еще...

Вечером Алеша узнает, что злополучную задачку он не решил один. Вот так тактично состоялось признание новичка детдомовцами.

Будучи сам в прошлом детдомовцем, я никак не могу согласиться с автором, который ограничился единственным проявлением смятенной души героя в период его адаптации в детском доме. Правда, в повести нет привычного для нас отрицательного персонажа. Но автор и без того прекрасно создает фон недоброжелательности, агрессивности в полутонах, живых штрихах. Почему же эмоциональный и непосредственный Алеша, бог знает что переживший за два года скитания, выказывает, я бы сказал, унижающее его как личность смирение? Подросток, в недавнем прошлом принадлежавший улице, столкнувшись с жестокими детдомовскими традициями, неизбежно должен оказать им внутреннее сопротивление! Таким образом произошло бы очищение характера, болезненное, но благодатное для литературного героя, писателю это дало бы не менее благодатную возможность показать жизнь во всей ее сложности и реальных противоречиях. К сожалению, Естамонов не в полной мере использовал свое право.

Начиная с главы «Юра», чувство неудовлетворенности пропадает и не появляется больше.

Юра, пожалуй, одна из самых примечательных фигур в повести. Гостеприимна душа Кадыра. Несомненной авторской удачей представляется мне образ слепого фронтовика дяди Кости, оживший в воспоминаниях Алеши.

Своим поведением дядя Костя дает нравственные уроки Алеше, который признается: «Не я был поводырем у дяди Кости, он вел меня по жизни все время пока я был с ним». Когда в одном из вагонов их нашла жена слепого, мальчик незаметно покидает своего наставника. А ведь они хотели забрать Алешу с собой...

Видимо, есть своя закономерность в том, что каждый взрослый человек, встреченный в детстве, значителен, оставляет хорошее или плохое, даже если просто поговорил с ребенком откровенно. Если память о бабушке, Римке и о семье Кленовых стала главным критерием в познании окружающего мира для Алеши и выработала в нем своеобразный иммунитет к людской несправедливости, то воспо-

минания о слепом гармонисте формируют в мальчике категории нравственности.

Понуждаемый естественным для мальчишек чувством соперничества, когда рядом девочка, Алеша, пытаясь показать ей легкость и ловкость своего тела, попадает в беду. Он чуть было не утонул в полынье. Спасли друзья: Юра, Кадыр, Ляля.

Юра отказался идти в медпункт, отшутил-ся. Перенес воспаление легких на ногах. В результате осложнение, по-видимому — туберкулез.

«Одна глупость — две беды», — скажет потом выздоравливающему Алеше Кадыр. Юру отправили лечиться в санаторий.

Медсестра, которую все в детдоме зовут «Теть Поля», казалось бы, фигура эпизодическая. Но запоминается надолго. День и ночь она ухаживает за больным Алешей. Лишь потом, когда мальчик выздоровеет, он узнает, что тетя Поля получила похоронку в критический момент его болезни. И невольно приходит в голову мысль о гуманной природе отношений между людьми: мальчик, сам того не подозревая, помогает своей беспомощностью справиться женщине с горем!

...Алеша получает первые в жизни письма. Два письма по-настоящему событийны в жизни ребенка. Одно от дяди Кости, другое от красноармейца Саши Кленова из Москвы!

Два луча людской доброты и соучастия пересекаются в одной точке. Эта точка — душа маленького сироты, живущего в глубине Сибири.

Но разве Алеше теперь можно назвать сиротой? Вспомним, сколько людей приняло участие в его жизни. И если он не стал озлобленным и замкнутым, то нужно сказать спасибо доброте людской и чуткости.

Повесть напомнила мне, что ДЕТСТВО — это своеобразный заповедник, где свободно должны расти и развиваться беззащитные души маленьких представителей человечества, где внутренние законы и без того достаточно сложны, чтобы терпимо относиться к проникновению на эту территорию браконьеров разного рода, чьи выстрелы бьют по ранимым детским душам.

Каждый писатель еще в начале творческого пути своими произведениями задает и пытается ответить на большие вопросы или ставит их перед читателем...

И потому, как бы ни был многообразен и противоречив его путь, в какие бы дебри ни заходил он в поисках материала, единственно пригодного для воспроизведения художественной модели своего мира, он в пору своей зрелости вновь и вновь будет возвращаться к себе изначальному, каждый раз обогащенный событиями личными и мировыми...

Тамара Страхова

«МИШКУ МЫ НАЗАД ПРИВЕДЕМ...»

И снился ему сон: большое, величиной с экран, лицо наклонилось над ним и синими сухими губами шептало: «Откройся господу, властителю души и дум твоих, и да будет путь твой зерном усеян — не плевелами...» И колокола, колокола...

В испарине пробудился Иван Кузьмич, с трудом соображая: сон это или явь?

«Сон,— с облегчением подумал он.— Но колокола?»

А это просто звонил телефон. «Кому надо?» — с раздражением проворчал Иван Кузьмич, но вспомнив, что жена работает в ночную, попытался босыми ногами нащупать шлепанцы, не нашел, пошлепал так. Телефон стоял в коридоре, Иван Кузьмич тайно надеялся, что на каком-то шагу звонки оборвутся, но телефон неистовствовал.

— Алло,— пробурчал Иван Кузьмич, подтягивая трубку к губам, и очень удивился, услышав бодрый мужской голос:

— Здорово, мужик! А ты чо не спишь-то?

— Да я сплю,— сказал Иван Кузьмич, вталкивая вырывающийся наружу зевок обратно.

— Кончай Ваньку валять,— голос на миг показался Ивану Кузьмичу знакомым, но только на миг, а в следующий — Иван Кузьмич готов был поклясться на кресте, что отродясь не слышал этого голоса.

— Так ты чо не спишь-то? — голос снова приблизился к Ивану Кузьмичу. — Тоскуешь, что ли, думы одолевают, бессонница накатила?

— Да нет у меня бессонницы, сплю я,— ответил Иван Кузьмич раздражаясь.

— А кто это?

— Да я это, я... А ты куда звонишь, может, номером ошибся?

— Да нет, не ошибся, я тебе звоню, мужик, тебе, точно...

— А кто я такой? — спросил Иван Кузьмич, все еще надеясь, что произойдет ошибка.

— Ну это тебе лучше знать, кто ты такой. Вот и расскажи, горем поделился, тоску излей, ну поплачь в мою жилетку, что ли... —

Голос принял назидательный тон, — ну давай, давай, выкладывай, что там у тебя в дебрях души твоей творится?

Ноги Ивана Кузьмича стали стынуть, но все еще не растаявшее сомнение заставило выдать:

— А ты кто такой?

— Да Коровин я, Степан, не узнаешь, что ли? — Голос хихикнул, и Иван Кузьмич вдруг явственно представил себе открытый в широкой улыбке незнакомый рот далекого Коровина. Роясь в памяти, Иван Кузьмич с удивлением отметил, что Коровина Степана там почему-то нет.

«Вот и хорошо», — удовлетворенно подумал Иван Кузьмич и прихлопнул бодрый голос незнакомца телефонной трубкой.

Едва он добрался до кровати, как телефон снова зазвонил. «Не пойду», — упрямо сказал себе Иван Кузьмич. — А вдруг жена? Обвинит потом в невесть каких грехах, скажет, дома не был или еще что...» — Вздохнув тяжко, он отправился в коридор.

— Да,— вежливо сказал он в снятую трубку.

— Мужик, ну ты чо злой-то такой? Не узнал, что ли? Это же я, Коровин Степан!

— Что тебе надо, Коровин Степан? — спросил Иван Кузьмич голосом, не располагающим к дальнейшей беседе.

— Да вот я тебя о том же спрашиваю, может, тебе надо чего, может, болеешь, так я в аптеку сбегая или... ну, хочешь я приду тебе полы помою.

— Какие полы, жена моет...

— Какая жена? — в тон ему ответил голос. — От тебя же ушла жена, и ты один, и плохо тебе, и никто этого не понимает, кроме меня...

— Не ушла от меня жена, в ночную она, на работе.

— Какая может быть работа? Ушла она, мне-то лучше знать, я в этих семейных делах — ого! — как разбираюсь, оттого и звоню...

Дальше разговаривать Иван Кузьмич не считал нужным. Тихонько положив трубку, он на секунду задумался, потом отправился на кухню, где лежали сигареты.

«Да ну, ерунда это все, розыгрыш, не спит-ся какому-то идиоту, и все дела!»

Но потом Ивана Кузьмича стали посещать странные мысли: он вспомнил вдруг, что в прошлое воскресенье жена ходила в кино с подружкой. А с подружкой ли? А частые задержки на работе?

— Нет, не может быть, нет,— Иван Кузьмич почти успокоился, нет, не почти, а успокоился до такой степени, что заставил себя пройти в спальню и лечь.

Звонок раздался именно тогда, когда Иван Кузьмич успокоился совсем и начал было засыпать.

Жена! Путь к телефону был проделан с такой быстротой, что телефон захлебнулся на четвертом звонке.

— Ну,— глухо выдавил он в трубку.

— Ну,— эхом откликнулся теперь уже знакомый до неприятности голос.— Чо надумал-то, может, расскажешь?

— А почему я должен именно тебе рассказывать?

— Да потому, что Коровин я, Степан, друг твой.

— Послушай, друг, катись ты!.. Много вас, друзей, развелось.

— Ты чо, мужик, ругаешься? Плохо воспитан, что ли? Доверься мне, я из тебя такого денди сделаю.

— Кого, кого?— Ивана Кузьмича стала дуть злость.— Кого это ты из меня собрался делать?

— Денди,— спокойно ответил голос,— то есть хорошего человека, воспитанного.

«Оскорбляет»,— злорадno подумал Иван Кузьмич и сказал в трубку нехорошее слово. В трубке раздались гудки.

«Слава богу, отвязался»,— подумал Иван Кузьмич.

Но едва он доплелся до кровати, телефон опять подал голос.

«Ну теперь это, конечно, жена звонит».

Он снял трубку, и до его слуха донеслось:

— Быть может, ты болеешь?

Иль денег не имеешь?

Иль Мишка ушел, живодер?

Скажи, молчать негоже.

Мы выручим, поможем.

А Мишку мы назад приведем.

— Какого Мишку?— взревел Иван Кузьмич.

— Как какого?— изумился голос на том конце.— Ты, может, скажешь, что и Мишку не знаешь?

— Не знаю,— ответил Иван Кузьмич.

— А может, и жену как звать забыл?

Иван Кузьмич молчал.

— Ну чо молчишь, мужик, тебе там, часом, не плохо стало, а то я сейчас «скорую»...

Иван Кузьмич ощутил легкое головокружение и тошноту. В трубке оглушительно захотали, Иван Кузьмич дернулся, ему вдруг показалось, что смеются где-то рядом, за спиной... Из углов ползли угрюмые тени, а в голову— угрюмые мысли. Вдруг вспомнилось, что начальника жены зовут Михаил Дмитриевич, Миша, Мишка то есть...

— Какой вздор,— в который раз успокаивал он себя,— какой вздор...

После следующего звонка вздор уже не казался вздором. Копаясь в своей супружеской жизни, Иван Кузьмич стал все больше находить в ней изъянов, ему казалось зловещим, что жена до сих пор не позвонила ему, вспомнился сон... и как чьи-то сухие губы шептали: «Откройся, облегчи душу свою откровенным покаянием...»

— Не грешен, господи,— шептал Иван Кузьмич, и слезы наворачивались ему на глаза.

Следующего звонка он ждал с нетерпением. Спать не хотелось. Сигареты кончились.

Звонок раздался, когда за окном забрезжил рассвет. Иван Кузьмич сорвался с места. Звонила жена.

— А, наконец-то,— злорадno закричал в трубку Иван Кузьмич.— Давай, давай, покаяйся в грехах своих, облегчи душу свою, грешную, а я послушаю.

— Ты чего, Ваня?— очень удивленно спросила жена.— Спал, что ли?

— Нет, не спал я, не давали они спать...

— Да кто, они-то?

— Колокола, кто же еще?

— Какие колокола?

— Что, сбежал Мишка, что ли?— не отвечая на вопрос жены, выпалил Иван Кузьмич.— Мишку мы назад приведем, не бойся, облегчи душу свою, пусть путь твой зерном будет усеян...

Домой жена примчалась одновременно со «скорой».

Когда в приемной больницы сестра обратилась к отрешенно лежащему на кушетке Ивану Кузьмичу с вопросом: фамилия, имя, отчество, лицо его осветилось радостным внутренним светом, и он, ударив себя в грудь кулаком, откровенно признался:

— Да Коровин я, Степан, не узнаешь, что ли?

— Марья Павловна,— крикнула сестра в пустоту соседнего кабинета,— иди забирай, опять Коровин, третий уже, эпидемия на них, что ли...

Наши авторы

Коньков Владимир Андреевич. Родился в 1935 году в с. Талое Красноярского края. Окончил Литературный институт им. Горького. Работает редактором областного радио. Автор книги повести и рассказов «Утренняя смена». Член Союза журналистов СССР.

Зубарев Валерий Федорович. Родился в 1943 году в с. Кайла Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор поэтических книг «Говорил со мною ветер...», «Магнитное поле» и «Мыслящий огонь». Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Филаткина Людмила Петровна. Родилась в Кемерове. Окончила Уральский государственный университет. Работает редактором на Кемеровской студии телевидения. Публиковалась в газетах и в альманахе «Огни Кузбасса».

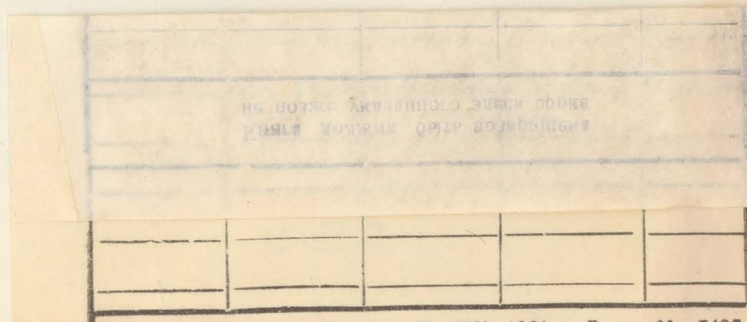
Махалов Валентин Васильевич. Родился в 1933 году в Горьком. Окончил Ленинградский университет. Автор многих поэтических книг и сборника повестей «Тихая родина». Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Небогатов Михаил Александрович. Родился в 1921 году в Гурьевске. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих поэтических книг, последние из которых: «Спасибо сентябрю», «Земной поклон» и «Лето». Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Юров Геннадий Евлампиевич. Родился в 1937 году в Кемерове. Окончил Томский государственный университет. Автор многих сборников стихов и поэм. За очерковую книгу «Труженица Томь» удостоен премии Союза журналистов СССР. Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Майский Павел Николаевич. Родился в 1937 году в п. Центральный рудник Кемеровской области. Окончил Сибирский металлургический институт и Литературный институт им. Горького. Автор поэтических книг «Взмах крыла», «Сарбалинская рапсодия», «Высокие туманы» (Кемерово) и «Солнечная деляна» (Москва). Член Союза писателей СССР. Живет в Новокузнецке.

Броницкий Павел Сергеевич. Родился в 1950 году в г. Измаиле Одесской области. Работает плотником в СУ № 3 Кузбассгражданстроя. Печатался в газетах. Живет в г. Прокопьевске.



КемПК. 1981 г. Заказ № 7497

